



Валерий Антонов

**Сказать несказанное: мышление
против языка от Гегеля к
Хайдеггеру через Маркса.**

Валерий Антонов
Сказать несказанное:
мышление против
языка от Гегеля к
Хайдеггеру через Маркса.

*<https://litres.ru/73984519>
SelfPub; 2026*

Аннотация

Язык философии не нейтрален. Его грамматика — субъект, предикат, связка «есть» — сопротивляется мысли, искажает её, навязывает рассудочные схемы. В этом исследовании прослеживается, как три ключевых мыслителя ведут борьбу с языком. Гегель взламывает форму предложения изнутри спекулятивной диалектикой. Маркс разоблачает язык политической экономии, где общественные отношения людей предстают как свойства вещей. Хайдеггер доводит эту линию до предела, чтобы перейти от «мышления против языка» к «мышлению из языка» — вслушиванию в язык как в «дом бытия». Книга показывает, как философия, пытаясь сказать несказанное, переосмысляет само существо говорения — и в этом переосмыслении открывает новые возможности для мысли.

Содержание

Введение.	4
Гегель против языка: диалектика как преодоление высказывания. Феноменология духа.	9
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Валерий Антонов

Сказать несказанное: мышление против языка от Гегеля к Хайдеггеру через Маркса.

Введение.

Философия говорит. Она всегда уже высказала себя в словах, предложениях, текстах. Но что если сам язык, которым философия вынуждена пользоваться, не нейтрален? Что если его грамматическая форма — субъект и предикат, связка «есть», склонность к субстантивации и фиксации — не просто внешняя оболочка мысли, а активная сила, которая сопротивляется мысли, искажает её, направляет по ложному пути? Тогда философствование оказывается не только поиском истины, но и непрерывной борьбой с тем медиумом, в котором этот поиск ведётся. Тогда мышление должно мыслить против языка.

Эта борьба не есть нечто второстепенное или чисто стилистическое. Она лежит в основании самих философских

проектов, которые определили облик современной мысли. Настоящее исследование прослеживает эту борьбу в трёх её решающих эпизодах: в «Феноменологии духа» и «Науке логики» Гегеля, в «Капитале» Маркса и в хайдеггеровском осмыслении обоих мыслителей.

Гегель первым сделал сопротивление языка своей прямой темой. Уже в Vorrede к «Феноменологии духа» он объявил, что философская истина не может быть высказана в форме предисловия, не может быть уложена в неподвижное суждение с субъектом и предикатом. Спекулятивное предложение, которое он разрабатывает, есть не что иное, как насилие над языком: связка «есть» перестаёт означать приписывание свойства и становится знаком движения, а само предложение требует обратного удара (Gegenstoß), разрушающего его буквальный смысл. В «Науке логики» эта работа уходит вглубь: здесь язык борется уже не с образами и риторическими фигурами, а с самой грамматической структурой, которая навязывает категориям вид отдельных «вещей». Чистое бытие не может быть высказано без того, чтобы не превратиться в нечто определённое; ничто не может быть названо, не получив бытия; а становление требует глагольных форм, которые одновременно фиксируют и ускользают. Гегель не изобретает новый язык — он заставляет существующий язык работать на пределе его возможностей, доводит его до точки, где рассудочная форма взрывается изнутри, и в этом взрыве открывает спекулятивное содержание.

Маркс продолжает эту борьбу, но переносит её в иную сферу. В «Капитале» языком, который сопротивляется мысли, оказывается не формальная логика с её субъектно-предикатными схемами, а язык буржуазной политической экономики. Этот язык не нейтрально описывает экономические факты — он мистифицирует их, представляя общественные отношения между людьми как естественные свойства самих вещей. Товар, деньги, капитал начинают говорить собственным голосом: «товар стоит», «деньги делают деньги», «капитал приносит прибыль». Маркс мыслит против этого языка, разоблачая товарный фетишизм и показывая, что за видимостью вещных отношений скрывается эксплуатация человека человеком. Но Маркс не отбрасывает язык политической экономики — он проходит сквозь него, доводит его внутреннее противоречие до точки, где этот язык сам себя разоблачает, превращаясь из апологетики капитала в его критику.

Хайдеггер завершает эту линию — но завершает её таким образом, что сама рамка «мышления против языка» оказывается поставленной под вопрос. В лекционных курсах, посвящённых Гегелю (GA 32, GA 36/37), и в эссе «Hegels Begriff der Erfahrung» (GA 5) он показывает, что гегелевское насилие над языком, при всей своей мощи, остаётся внутри метафизики субъекта. Гегель освободил язык от оков расщудочной предикации, но оставил его орудием абсолютно-го духа — средством самовысказывания субъекта. В «Письме о гуманизме» (GA 9) Хайдеггер обращает этот упрёк и к

Марксу: понимая отчуждение как отчуждение труда, Маркс всё ещё мыслит человека как *animal rationale*, а язык — как инструмент выражения и преобразования мира. Оба они, при всём их радикализме, не спросили: что такое сам язык, если он может быть и орудием мистификации, и орудием разоблачения? Что делает возможным это двойное употребление?

Собственный шаг Хайдеггера состоит в том, чтобы перестать мыслить против языка и начать мыслить из языка. Язык не есть орудие, которым располагает человек. Язык есть «дом бытия» — стихия, в которой бытие открывает себя и одновременно скрывает, а человек призван не овладеть этой стихией, а вслушиваться в неё и отвечать ей. Это не отказ от гегелевского и марксова наследия, а его radicalное переосмысление. Без гегелевского разрушения рассудочной формы предложения и без марксова разоблачения товарного фетишизма вопрос о языке как доме бытия не мог бы быть поставлен. Но после них он должен быть поставлен — иначе мышление так и останется при своём старом убеждении, что язык есть средство, пусть даже самое возвышенное и самое революционное.

Настоящая работа прослеживает этот путь в обратном порядке — от Гегеля к Хайдеггеру через Маркса, — останавливаясь на ключевых текстах и показывая, как в каждом из них язык становится не просто темой, но полем битвы, на котором решается судьба мысли. Это не история философии язы-

ка в обычном смысле. Это история того, как философия, пытаясь сказать несказанное, вынуждена была переосмыслить само существо говорения — и в этом переосмыслении открывала новые возможности для мысли.

Гегель против языка: диалектика как преодоление высказывания. Феноменология духа.

1. Предупреждение о методе и истине как субъекте.

Локализация: «Феноменология духа», Vorrede. В издании Meiner страницы 3–17, в Suhrkamp том 3 — страницы 11–28. Охватывает текст от первого абзаца Vorrede до фразы «...die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein» включительно. Разбираемые пассажи: критика предисловия — начало Vorrede (Meiner 3–5, Suhrkamp 11–14); тезис о субстанции как субъекте — Meiner 13–14, Suhrkamp 22–23; метафора почки, цветка и плода — Meiner 4, Suhrkamp 12; спекулятивное предложение — Meiner 45–48, Suhrkamp 59–63; критика табличного мышления и образ ночи с коровами — Meiner 13–14 и 17, Suhrkamp 22–23 и 27; финальный тезис о системе — Meiner 6, Suhrkamp 14.

Насилие над языком как вступление в философию: Vorrede и невозможность предисловия.

Гегель открывает Vorrede заявлением, которое выполняет странную, почти парадоксальную работу. Он пишет: «Es scheint bei einer philosophischen Arbeit nicht nur überflüssig, sondern sogar unpassend und zweckwidrig zu sein, ein Vorwort

voranzuschicken» — «Предпосылать философскому труду предисловие кажется не только излишним, но даже неуместным и противоречащим цели». Что значит этот жест? Философ начинает книгу с того, что объявляет форму, в которой он сейчас говорит, непригодной для философии. Читатель ещё не прочёл ни одного тезиса, а ему уже сообщают: то, что ты сейчас читаешь, не может быть адекватным введением в предмет. Это перформативное противоречие — но Гегель и не пытается его скрыть. Напротив, он делает его отправной точкой: Vorrede будет не введением в истину, а лишь внешним разговором о том, чем истина не является и как к ней нельзя подходить. Язык с самого начала применяется против самого себя: он говорит, и этим говорением демонстрирует недостаточность говорения для схватывания истины.

Почему предисловие неуместно? Гегель поясняет: «Denn worin das, was in einer Vorrede zu tun pflegt, eigentlich besteht, nämlich über den Zweck und die Veranlassung der Schrift, über das Verhältnis, worin der Verfasser sie zu anderen früheren oder gleichzeitigen Behandlungen desselben Gegenstandes zu stehen glaubt, zu sagen, das scheint für eine philosophische Schrift nicht nur überflüssig, sondern sogar der Sache unangemessen». Предисловие обычно указывает цель, повод, отношение к другим работам — то есть оно располагает истину как нечто готовое, имеющее внешние связи и причины. Но философская истина, по Гегелю, не такова. Она не есть результат, который можно предъявить заранее. Поэтому сказать о ней

что-то в форме предисловия — значит с самого начала искажать её природу, превратить её в нечто такое, чем она не является. Язык предисловия принуждает к внешнему, историческому, психологическому подходу, тогда как философия требует внутреннего, систематического. Гегель осознаёт эту ловушку и входит в неё сознательно, чтобы тут же начать из неё выходить. Он пишет предисловие, которое разрушает жанр предисловия изнутри.

Субстанция как субъект: разрушение связки.

Главный тезис Vorrede формулируется так: «Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken». Всё дело в том, чтобы истинное понимать и выражать не как субстанцию, а в равной степени как субъекта. Обратим внимание: Гегель говорит «auffassen und ausdrücken» — понимать и выражать. Проблема сразу становится проблемой языка, а не только мышления. Недостаточно помыслить истинное как субъект, нужно ещё и выразить это в языке. Но как? Обычный язык даёт форму «S ist P». Если я говорю «истинное есть субъект», я невольно фиксирую его как субстанцию, которой приписывается свойство субъектности. Грамматика саботирует мысль.

Гегель разъясняет это позже, в разделе о спекулятивном предложении. В обычном познании, говорит он, «das Subjekt als ein fester Punkt zugrunde gelegt wird, an den die Prädikate

geheftet sind» — субъект полагается как некая твёрдая точка, к которой прикрепляются предикаты. Но в философском познании «das Subjekt vielmehr erst durch die Prädikate als das erzeugt wird, was es ist» — субъект впервые порождается предикатами как то, что он есть. Субъект не предшествует своим определениям, он есть процесс их саморазвёртывания. Грамматическое же предложение всегда уже предполагает готовый субъект, о котором нечто сказывается. Это противоречие между формой и содержанием Гегель называет прямым текстом: «Der gewöhnliche Weg, ein Urteil zu fällen, ist: dies ist so. Das Subjekt ist ein Dieses, das Prädikat ein Allgemeines. Das spekulative Urteil dagegen ist so beschaffen, daß das Prädikat das Subjekt in sich zurücknimmt». Спекулятивное суждение устроено так, что предикат забирает субъект обратно в себя. Иными словами, в спекулятивном предложении читатель ожидает, что предикат окажется внешним определением субъекта, а вместо этого обнаруживает, что субъект исчезает в предикате, становится им, и лишь пройдя через это исчезновение, восстанавливается как конкретное единство.

Здесь происходит то, что Гегель называет «Gegenstoß» — обратный удар. Сознание движется от субъекта к предикату, но, дойдя до предиката, оно не находит там ожидаемого покоя. Предикат оказывается не простым свойством, а самой сущностью субъекта. Сознание вынуждено вернуться к субъекту и переосмыслить его. «Das Denken verliert seinen festen

gegenständlichen Boden» — мышление теряет свою твёрдую предметную почву. Это и есть насилие над языком: спекулятивное предложение сохраняет грамматическую форму обычного предложения, но разрушает его логическую структуру. Субъект и предикат меняются местами, связка «есть» из знака равенства превращается в знак движения. Язык сопротивляется этому, он тянет назад, к покоящейся предикации. Гегель говорит: «Es ist ein Widerstreit der Form eines Satzes überhaupt und der sie zerstörenden Einheit des Begriffs» — это борьба формы предложения вообще и разрушающего эту форму единства понятия. Борьба происходит прямо на странице, в синтаксисе.

Органическая метафора как языковой протест против дискретности.

Когда Гегелю нужно объяснить, что такое диалектическое снятие, он прибегает к образу из совершенно другой области: «Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte, und man könnte sagen, daß jene von dieser widerlegt wird; ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze erklärt, und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen unterscheiden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich miteinander. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten, sondern eins so notwendig als das andere ist, und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus». Почка исчезает, ко-

гда распускается цветок, и можно сказать, что первая опровергается вторым; плод точно так же объявляет цветок ложным существованием растения. Но их текучая природа делает их моментами органического единства, где они не только не противоречат друг другу, но одно так же необходимо, как другое, и эта равная необходимость составляет жизнь целого.

Что здесь делает язык? Метафора вторгается в философский дискурс и совершает в нём работу, которую понятийный язык сам по себе выполнить не может. Рассудочный дискурс знает слова «почка», «цветок», «плод» как имена отдельных вещей. Он естественно склонен понимать смену этих форм как опровержение: то, что пришло позже, истинно, то, что было раньше, ложно. Гегель берёт именно эти слова и показывает, что их «текучая природа» сопротивляется такой логике. Он не вводит технический термин «снятие» через дефиницию — он заставляет читателя увидеть его работу в живом образе. Но образ этот не остаётся просто иллюстрацией. Гегель говорит «man könnte sagen» — можно было бы сказать, что почка опровергнута. Это важный оборот: он вводит чужую, наивную речь, чтобы тут же её поправить. Язык здесь действует на два фронта: он имитирует рассудочную речь и одновременно показывает её недостаточность. Метафора работает как мост между рассудочным и спекулятивным, но мост этот построен из того же материала — из слов. Гегель не заменяет понятия образами, он внутри

стихии языка сталкивает логику образа и логику рассудка, чтобы из их столкновения родилось новое понимание.

Более того, сама структура метафоры противостоит дискретности языка. Метафора утверждает тождество в различии, она говорит «это есть то», удерживая одновременно и сходство, и несходство. В этом она подобна спекулятивно-му предложению. Когда Гегель говорит о почке и цветке, он не просто сравнивает, он заставляет слова функционировать так, что их буквальное значение (отдельные фазы) и их метафорическое значение (моменты целого) удерживаются вместе. Читатель вынужден видеть и фазы как отдельные, и фазы как неотделимые — именно ту двойную оптику, которую требует диалектика.

Таблица и ночь: разрушение формального языка через образную полемику.

Критика формализма — ещё одна точка, где Гегель взламывает язык. Формализм, который он имеет в виду, — это шеллингианство и его эпигоны, оперирующие готовыми схемами. Гегель описывает их метод с язвительной точностью: «Das Verfahren ist, ein Schema auf den Umfang des Himmels und der Erde, auf alle Gestaltungen der Natur und des Geistes aufzukleben, und so die ganze Ordnung der Dinge in einer Tabelle darzustellen». Метод состоит в том, чтобы наклеить схему на весь объём неба и земли, на все образования природы и духа и представить весь порядок вещей в виде таблицы. Таблица есть крайняя форма языкового овеществления:

содержание сводится к рубрикам, отношения — к соседству клеток. В таблице исчезает движение, исчезает переход. Это язык, умерший до состояния неподвижных знаков.

И вот против этого омертвело́го языка Гегель выдвигает один из самых ярких образов во всей истории философии. «Dies ist das formelle Wissen, das alles in einem Schema als in der Nacht abhandelt, worin alle Kühe schwarz sind». Это формальное знание, которое обсуждает всё в одной схеме, как в ночи, где все коровы черны. Здесь происходит поразительная вещь. Гегель разоблачает пустоту формальной абстракции — и делает это не через другую абстракцию, а через предельно конкретный, почти грубый образ. Ночь, коровы, чернота — это слова из крестьянского обихода. Они вторгаются в философский трактат и своей чужеродностью наносят удар по тому самому формализму, который Гегель критикует. Если формалист говорит на языке чистых категорий, лишённых содержания, то Гегель отвечает ему языком, перенасыщенным содержанием. Он как бы говорит: твоя пустая всеобщность настолько бедна, что её можно описать деревенской поговоркой.

Но в этом полемическом жесте есть и более глубокая логика. Образ ночи, в которой все коровы черны, сам работает как снятие образного языка. Буквально он означает: когда нет света различия, всё сливается в неразличимое единство. Метафорически он означает: когда нет конкретных определений, чистое абсолютное есть ничто. Но сам этот образ —

не есть ли он тоже некоторое «чёрное», неразличимое, образное? Гегель рискует: он использует образ, чтобы убить образное мышление. Он говорит: ваше абсолютное знание — это ночь. Но моя речь о ночи — не ночь, она конкретна. Здесь язык совершает акт саморазличения внутри самого себя: образ применяется не для украшения, а для уничтожения определённого типа философской речи. Это бой на территории противника.

Снятие самого жанра: Vorrede как анти-предисловие.

К концу Vorrede проясняется, что все эти операции — критика предисловия, взлом субъектно-предикатной структуры, органическая метафора, полемический образ — складываются в единую стратегию. Гегель не просто говорит о недостаточности языка, он демонстрирует эту недостаточность, заставляет язык работать на пределе его возможностей, и в этом предельном напряжении показывает нечто, что не может быть просто «сказано». Vorrede, объявившая себя неуместной, к концу оказывается не введением в систему, а негативной пропедевтикой: она расчищает место, разрушая привычные способы говорить о философских предметах.

Финальный аккорд этого движения: истина действительно только как система. «Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein». Истинная форма, в которой истина существует, может быть только научной системой её самой. Но

что такое система? Это не набор предложений, не таблица, не метафора и не предисловие. Это целое, в котором каждое определение имеет смысл только в связи со всеми остальными. Язык системы — это язык, преодолевший свою грамматическую дискретность, свою склонность к фиксации, свою жанровую ограниченность. Но этот язык ещё не дан в *Vorrede*. *Vorrede* может только указать на него отрицательно, через разрушение неадекватных форм речи. Она есть негативная работа языка над самим собой, самоочищение языка перед вступлением в науку.

Таким образом, уже в первом разделе *Vorrede* Гегель разворачивает весь репертуар «мышления против языка»: перформативное противоречие (говорить о ненужности говорения), спекулятивное преобразование связки, метафорическое удержание текучести против дискретности, полемическое вторжение низкого образа в высокий стиль. Всё это не приёмы риторики, а необходимые операции, без которых мысль не может выйти за пределы, положенные ей обыденным языком. Гегель мыслит против языка не потому, что хочет быть тёмным, а потому, что язык сам по себе есть стихия рассудка, и чтобы сделать его стихией разума, нужно сначала сломать его рассудочные формы — сломать, сохраняя при этом сам язык как единственное доступное медиум философии.

2. Критика формализма и «ночи, где все коровы черны»

Локализация: «Феноменология духа», Vorrede. В издании Meiner страницы 13–18, в Suhrkamp том 3 — страницы 22–28. Ключевые пассажи: характеристика формального знания и табличного метода — Meiner 13–15, Suhrkamp 22–25; образ ночи, где все коровы черны — Meiner 17, Suhrkamp 27; «наивность пустоты в познании» — Meiner 15, Suhrkamp 24; сравнение таблицы со скелетом без плоти и крови — Meiner 14, Suhrkamp 23.

Критика формализма и «ночи, где все коровы черны»: язык как пустая номенклатура и её саморазоблачение

В этом разделе Vorrede Гегель переходит от общих методологических заявлений к прямой атаке на господствующий способ философствования. Его мишень — формализм, который он связывает прежде всего с шеллингианской школой. Но критика Гегеля направлена глубже: он разбирает не просто ошибки конкретных философов, а определённое отношение между языком и истиной, которое делает эти ошибки возможными. Формализм есть такое употребление языка, при котором форма становится безразличной к содержанию, а термины — пустыми этикетками, приклеиваемыми к чему угодно. Гегель не просто описывает это как теоретическую проблему — он демонстрирует её через сам способ своей речи, доводя формалистический язык до логического и риторического абсурда.

Гегель начинает с того, что показывает, как форма-

лизм овладевает философской культурой. Он пишет: «Dieses Formelle, das allgemeine Schema, mit dem die Dinge bekleidet werden, ist es, was man jetzt vorzüglich die Idee nennt» — «Это формальное, общая схема, в которую облакают вещи, есть то, что теперь по преимуществу называют идеей». Глагол «bekleiden» — облекать, одевать — выбран точно: схема есть внешняя одежда, которую можно надеть на любое тело безразлично к тому, что это за тело. Язык здесь функционирует как гардероб готовых форм. Термины «субъект — объект», «идеальное — реальное», «конечное — бесконечное» становятся чем-то вроде вешалок, на которые развешивается любой эмпирический материал. Гегель иронизирует: с помощью такой схемы можно «alles in einer Tabelle darzustellen» — «всё представить в виде таблицы». Таблица есть предельное выражение этого языкового овеществления: она предполагает, что отношения между вещами исчерпываются соседством в клетках, что содержание полностью сводится к месту в заранее готовой сетке.

Суть критики Гегеля не в том, что схематический язык ложен, а в том, что он пуст. Он не схватывает предмет, он лишь набрасывает на него готовую сетку различений, которая сама по себе ничего не говорит о предмете. Гегель пишет с убийственной иронией: «Man kann sich nicht über den Gedanken erheben, das Absolute, das Wahre sei die Nacht, worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kühe schwarz sind» — «Не могут возвыситься над той мыслью, что абсолютное, истинное есть ночь,

в которой, как принято говорить, все коровы черны». Фраза построена так, что Гегель не утверждает это сам — он приписывает это суждение формалистам, вкладывает им в уста. Он говорит: вот до чего вы дошли, ваше абсолютное есть ночь. Но сам способ выражения — «wie man zu sagen pflegt» («как принято говорить») — вводит в философский текст поговорку, народную поговорку. Это грубое вторжение повседневной речи в высокий стиль есть уже акт языкового насилия. Гегель ломает стилистическую иерархию философского жанра, чтобы показать, что формалистический язык при всей своей возвышенности заслуживает именно такой — простонародной — характеристики.

Но поговорка о ночи и коровах работает ещё и как точное логическое суждение. Ночь — это стихия неразличённости. В ночи все коровы черны, потому что отсутствует свет, который позволяет различать цвета. Точно так же в формальном абсолютном отсутствуют конкретные определения, которые позволили бы различать вещи. Чистая всеобщность, лишённая особенных определений, есть ничто. Но сказать «есть ничто» языком формализма — значит остаться внутри той же пустой всеобщности. Гегель выбирает сказать это языком крестьянского двора. Конкретность образа работает как противоядие против абстрактности формального знания: ночь может быть образом, но корова в ночи — это уже нечто совершенно конкретное, телесное, даже пахнущее. Гегель как бы говорит: вы забыли о коровах. Вы говорите о все-

общем, но утратили саму способность видеть что-либо конкретное.

Отсюда Гегель переходит к прямому разоблачению языковой механики формализма. Он описывает, как работает это «формальное знание»: «Das Verfahren ist, ein Schema auf den Umfang des Himmels und der Erde, auf alle Gestaltungen der Natur und des Geistes aufzukleben, und so die ganze Ordnung der Dinge in einer Tabelle darzustellen». Глагол «aufkleben» — наклеивать — доводит метафору до гротеска. Схема есть нечто, что можно приклеить. Это действие внешнее, механическое, неорганическое. Клей не проникает в суть вещи, он лишь соединяет поверхность схемы с поверхностью предмета. Гегель продолжает: такая таблица «ist das Gerippe einer Skeletts, an dem das Fleisch und Blut fehlt» — «это остов скелета, в котором недостаёт плоти и крови». Метафора органического здесь возвращается, но уже в негативном ключе: формализм есть смерть, костяк без жизни. Если в первом разделе органическая метафора (почка — цветок — плод) служила для выражения живой текучести истины, то здесь она же используется для разоблачения мёртвости формального знания. Язык Гегеля сам проходит через эти метафорические ряды, сталкивая жизнь и смерть внутри собственного дискурса.

Особого внимания заслуживает фраза, которая следует за этим: «Die Naivität der Leere an Erkenntnis» — «наивность пустоты в познании». Это гениальный полемический оборот.

Гегель соединяет невинность («наивность») с пустотой («пустота в познании») и получает характеристику, которая уничтожает противника, не называя его прямо. Наивность обычно приписывается детству, начальной стадии развития, чему-то неиспорченному. Но здесь она оказывается свойством пустоты — то есть отсутствия содержания. Формалист не просто ошибается, он по-детски, наивно полагает, что наклеивание схемы на предмет уже есть познание. Гегель разоблачает эту наивность, показывая, что за ней стоит не простота, а пустота. Но делает он это через риторическую фигуру, которая сама по себе есть демонстрация того, как язык может соединять несовместимые планы и порождать в этом соединении новый смысл.

Теперь о главном: почему это — «мышление против языка»? Ответ здесь многослойный. Во-первых, формализм, который критикует Гегель, есть именно языковой феномен. Это философия, которая приняла свой язык за саму реальность. Её термины — «субъект», «объект», «конечное», «бесконечное» — суть слова, обладающие определённым значением внутри самой схемы, но лишённые связи с тем, что они якобы обозначают. Язык оторвался от вещей и замкнулся в себе. Гегель показывает это через критику языка: он не говорит «ваша онтология ложна», он говорит «ваши слова пусты». Он переводит онтологическую критику в лингвистический план, потому что именно в языке формализм себя выдаёт.

Во-вторых, сама критика Гегеля осуществляется средствами языка, но языка, поставленного в экстремальные условия. Он берёт формальные ходы — симметричные оппозиции, табличные построения — и повторяет их с такой буквальностью, что они обнажают свою пустоту. Повтор здесь работает как разоблачение: когда формалист говорит «субъект — объект», это звучит глубокомысленно. Когда Гегель повторяет это в контексте своей критики, это звучит как насмешка. Язык формализма, будучи помещён в новый контекст, саморазоблачается. Гегель не опровергает его извне, он даёт ему высказаться до конца — и в этом высказывании тот сам себя уничтожает.

В-третьих, Гегель не предлагает здесь никакого нового готового языка. Он не говорит: «Вместо схемы используйте такую-то терминологию». Он показывает, что язык как таковой имеет тенденцию к окостенению, к превращению в номенклатуру, и что единственный способ противостоять этой тенденции — постоянно держать язык в движении, заставлять его рефлексировать собственную форму. Именно поэтому его собственный язык в этом разделе так подвижен: он перескакивает от сарказма к метафоре, от поговорки к логическому анализу, от образа к понятию. Эта подвижность не есть недостаток строгости, она есть способ удержать язык от превращения в ту самую таблицу, которую он критикует.

В-четвёртых, центральный образ ночи и коров заслуживает отдельного разбора как акт «мышления против языка».

Это образ, который работает против образного мышления. Ведь что делает формалист? Он тоже мыслит образами — только его образы абстрактны и пусты. Он представляет себе абсолютное как ночь, как бездну, как неразличённое единство. Гегель берёт этот образ и доводит его до предела, добавляя к «ночи» «коров». «Ночь» — это возвышенный, почти мистический образ. «Коровы» — это низкий, бытовой, даже комический. Соединение того и другого даёт взрыв. Высокое падает в низкое, и в этом падении обнажается его пустота. Гегель не просто высмеивает формализм, он показывает, что его возвышенный язык есть на деле прикрытие отсутствия содержания. Низкий образ срывает это прикрытие. Это — работа языка против языка: один языковой регистр используется для разрушения другого.

Наконец, важно увидеть место этого раздела в общей экономике Vorrede. Первый раздел установил, что истина есть субъект, а не субстанция, и что для её выражения нужен спекулятивный, а не рассудочный язык. Второй раздел показывает, чем оборачивается попытка говорить об абсолютном, оставаясь внутри рассудочного языка. Формализм — это и есть та философия, которая принимает всерьёз тезис «субстанция есть субъект», но понимает его рассудочно: она полагает абсолютное как некую субстанцию-субъект, а затем приклеивает к ней готовые предикаты. Гегель говорит: нет, так нельзя. Если истина есть субъект, то язык должен не приклеивать предикаты, а позволять субъекту самому раз-

ворачивать свои определения. Формализм — это не просто ошибка, это неизбежное искушение языка, его склонность к фиксации и номенклатурности. Vorrede, взятая как целое, демонстрирует это искушение и одновременно — путь его преодоления. Второй раздел есть негативная фаза этого пути: он показывает, как язык становится пустым, когда он принимает себя за нечто большее, чем медиум, — когда он начинает полагать свои собственные формы как формы самого абсолютного. Критика формализма есть поэтому критика языка, который забыл о своей служебной роли и стал препятствием для мышления.

3. Живое целое, опосредование и работа негативно-го.

локализация в оригинальном тексте:

1. «Das Wahre ist das Ganze»

Начало знаменитого пассажа — примерно через две трети Vorrede. Гегель пишет: «Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen». Это переход от критики формализма к позитивному изложению того, чем должна быть научная система.

2. Учение о спекулятивном предложении

Чуть дальше, когда Гегель разъясняет, почему философское изложение не может пользоваться обычной формой суждения. Он говорит о «Widerstreit der Form eines Satzes

überhaupt und der sie zerstörenden Einheit des Begriffs» и о «Gegenstoß», который претерпевает мышление. Именно здесь он прямо заявляет, что спекулятивное мышление «не признаёт форму предложения истинной формой». Это, пожалуй, самая концентрированная рефлексия Гегеля над насилием, которое философия должна совершить над языком.

3. «Ernst, Schmerz, Geduld und Arbeit des Negativen»

Этот пассаж расположен между критикой формализма и рассуждением о спекулятивном предложении. Гегель говорит о том, что абсолютное нельзя мыслить как покоящуюся субстанцию или безмятежную игру — оно требует признания серьёзности, боли, терпения и работы негативного. Лексически этот пассаж резко контрастирует с окружающим текстом именно своей экзистенциальной насыщенностью.

4. «Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert...»

Финальная фраза, которой завершается содержательная часть Vorrede перед переходом к более конкретным полемическим замечаниям. Истина существует только как научная система — это итог всего рассуждения. Она следует за разбором спекулятивного предложения и подводит черту: преодоление рассудочной формы суждения есть не частная задача, а условие самой возможности научной философии.

Материал — от «Das Wahre ist das Ganze» до финального

определения истины как системы — принадлежит Vorrede и составляет её идейную кульминацию. Именно здесь Гегель наиболее прямо проговаривает то, что мы назвали «мышлением против языка»: он не просто применяет этот метод, но делает его предметом explicit-ной рефлексии, формулируя теорию спекулятивного предложения как языкового механизма, в котором форма суждения разрушается изнутри единством понятия.

Живое целое, опосредование и работа негативного: спекулятивное предложение и язык, говорящий боль.

В этом разделе Vorrede Гегель достигает предельной плотности в рефлексии над отношением мысли и языка. Здесь сходятся три важнейшие темы: определение истины как целого, теория спекулятивного предложения и концепция негативного как движущей силы. Все три требуют от языка невозможного — и Гегель сознательно идёт на это невозможное, превращая сам акт языкового насилия в философский метод.

Начнём с фразы, которая на первый взгляд выглядит как обычное философское определение. Гегель пишет: «Das Wahre ist das Ganze» — «Истинное есть целое». Форма предложения совершенно стандартна: субъект («das Wahre»), связка («ist»), предикат («das Ganze»). Читатель, привыкший к рассудочной философии, ожидает, что сейчас ему дали дефиницию: истинное определено через целое, можно двигаться дальше. Но Гегель немедленно разрушает это ожи-

дание. Он продолжает: «Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen» — «Но целое есть лишь сущность, завершающая себя через своё развитие». Субъект предыдущего предложения («das Ganze») становится субъектом нового, но теперь его предикат — не вещь, не свойство, а процесс. «Сущность, завершающая себя через развитие» — это не статичный объект, это движение. Грамматический субъект «целое» сперва был предъявлен как нечто, чему приписывается предикат «истинное есть». Теперь выясняется, что само целое не есть нечто, а есть акт самозавершения. Язык делает здесь нечто странное: он сначала фиксирует «целое» как имя, как существительное, а затем отбирает у него эту субстанциальность, превращая его в глагольную конструкцию («sich vollendende»). Гегель не может просто сказать «истинное есть процесс» — такая фраза всё равно оставила бы «процесс» как статичный предикат, как свойство истинного. Вместо этого он пишет предложение, которое требует перепрочтения первого предложения задним числом. Читатель, дойдя до «sich vollendende Wesen», вынужден вернуться к «Das Wahre ist das Ganze» и переосмыслить его: «целое» теперь значит не «вся совокупность», а «акт становления всей совокупности». Смысл возникает не в прямой последовательности слов, а в обратном движении. Это и есть то, что Гегель называет спекулятивным предложением.

Он разъясняет этот механизм несколькими страницами

позже, в пассаже, который является одним из самых важных во всей Vorrede для нашей темы. Гегель пишет: «Es ist ein Widerstreit der Form eines Satzes überhaupt und der sie zerstörenden Einheit des Begriffs» — «Это борьба формы предложения вообще и разрушающего эту форму единства понятия». Форма предложения — субъект, связка, предикат — предполагает, что субъект есть нечто самостоятельное, а предикат — нечто прибавленное к нему. Но в спекулятивном содержании субъект и предикат не внешни друг другу. Предикат не приписывается субъекту извне, а выражает его собственную сущность, более того — субъект только через предикат и становится тем, что он есть. Гегель продолжает: «Das gewöhnliche Urteil zeigt das Subjekt als ein festes Substrat, an das die Prädikate als Bestimmungen geheftet sind. Im spekulativen Satz dagegen wird das Prädikat nicht als eine dem Subjekt äußerliche Bestimmung, sondern als die Substanz des Subjekts selbst ausgesprochen». В обычном суждении субъект — это твёрдый субстрат, к которому прикрепляются предикаты. В спекулятивном предложении предикат выговаривается как сама субстанция субъекта. Отсюда возникает конфликт: грамматическая форма тянет читателя к тому, чтобы мыслить субъект как подлежащее, как нечто, что остаётся неизменным при смене предикатов. Но содержание требует мыслить субъект как то, что исчезает в предикате и заново рождается из него. Гегель называет это «Gegenstoß» — обратным ударом. Мыш-

ление движется от субъекта к предикату, но находит там не внешнюю характеристику, а саму суть субъекта, и вынуждено отпрянуть обратно: «Das Denken, statt im Fortgange vom Subjekt zum Prädikat weiterzugehen, fühlt sich, indem das Prädikat die Substanz des Subjekts ist, gehemmt und erleidet einen Gegenstoß» — «Мышление, вместо того чтобы в продвижении от субъекта к предикату идти дальше, чувствует себя, поскольку предикат есть субстанция субъекта, заторможенным и претерпевает обратный удар». Обратите внимание на слово «erleidet» — претерпевает. Это не добровольный акт, это страдание. Мышление страдает от языка, наталкиваясь на его грамматическую форму. И это страдание не случайно — оно есть необходимый момент философского познания.

Далее Гегель говорит вещь, которая является прямым признанием того, что мы называем «мышлением против языка». Он пишет: «Das spekulative Denken ist dem gewöhnlichen Denken vorzüglich darin entgegengesetzt, daß es die Form des Satzes nicht als die wahrhafte Form anerkennt» — «Спекулятивное мышление противоположно обыденному мышлению прежде всего в том, что оно не признаёт форму предложения истинной формой». И чуть дальше: «Die Hemmung des Gedankens in dieser Form ist es, die das spekulative Denken von dem rasonierenden unterscheidet» — «Заторможенность мысли в этой форме есть то, что отличает спекулятивное мышление от резонирующего». Спеку-

лятивное мышление не просто производит содержание, а потом облекает его в предложения. Оно упирается в форму предложения, наталкивается на неё как на препятствие, и в этом упоре, в этой заторможенности, в этой борьбе с грамматикой рождается собственно философское содержание. Гегель требует, чтобы философское письмо не игнорировало эту борьбу, а делало её явной. «Die Darstellung der philosophischen Wahrheit muß diesen Widerstreit in sich aufnehmen und austragen» — «Изложение философской истины должно принять в себя этот конфликт и вынести его». Не обойти, не скрыть гладким стилем, а принять и выдержать. Вот почему гегелевский текст так труден. Его трудность не есть недостаток ясности — это запланированное насилие над языком, которое должно заставить читателя пройти через тот же *Gegenstoß*, через то же страдание мысли, через которое прошёл автор.

Теперь обратимся ко второй части этого раздела — к теме негативного. После определения истины как целого и процессуального характера этого целого Гегель пишет один из самых знаменитых пассажей *Vorrede*: «Das Leben Gottes und das göttliche Erkennen mag also wohl als ein Spiel der Liebe mit sich selbst ausgesprochen werden; aber diese Idee sinkt zur Erbauung und selbst zur Fadheit herab, wenn der Ernst, der Schmerz, die Geduld und die Arbeit des Negativen darin fehlt» — «Жизнь Бога и божественное познание можно, пожалуй, выразить как игру любви с самой собой; но эта идея опус-

кается до назидательности и даже до пресности, если в ней отсутствуют серьёзность, боль, терпение и работа негативного». Этот пассаж поражает своей лексической смелостью. Гегель говорит о Боге, об абсолютном — и рядом с этим ставит слова «Ernst», «Schmerz», «Geduld», «Arbeit». Серьёзность, боль, терпение, работа. Четыре существительных, которые принадлежат сфере человеческого переживания, экзистенциального опыта. «Schmerz» — это боль, которую испытывает живое существо. «Geduld» — терпение, добродетель страдающего. «Arbeit» — труд, усилие, усталость. Все эти слова вторгаются в логический контекст с чужеродной силой. Гегель не говорит: «отрицание есть логическая операция». Он говорит: «работа негативного» — и приписывает ей серьёзность, боль и терпение. Логическое понятие отрицания антропоморфизуется, даже теоморфизуется. Ведь это жизнь Бога, божественное познание требует боли.

Что здесь происходит с языком? Гегель заставляет язык логики говорить языком жизни, языком страсти. Он не может выразить ту силу, которую негативное имеет в спекулятивном движении, оставаясь внутри чисто логического словаря. «Отрицание» — это термин, нейтральный, операционный. Но отрицание, которое есть двигатель диалектики, — это не нейтральная операция, это разрыв, катастрофа, гибель конечного. Чтобы передать это, Гегель должен заговорить о серьёзности. «Ernst» — это прежде всего слово, маркирующее отношение к смерти, к конечности. Серьёзное —

это то, что не игра, что имеет необратимые последствия. Гегель говорит: если вы мыслите абсолютное как игру любви с собой, но без серьёзности и боли негативного, вы впадаете в «Erbauung» и «Fadheit» — в назидательность и пресность. «Fadheit» — замечательное слово: пресное, безвкусное, то, что не имеет соли. Это почти гастрономическая метафора в самом центре рассуждения об абсолютном. Гегель использует вкусовое ощущение как критерий истины: мысль, лишённая негативного, пресна. Язык тела, язык ощущений, язык эмоций — всё это мобилизуется, чтобы передать нечто, что чисто логический язык передать не может.

Но важно понять: это не просто метафоры для оживления текста. Гегель не украшает логику психологическими образами. Он утверждает нечто гораздо более сильное: само негативное в понятии имеет структуру боли и труда. Когда сознание теряет свою истину, оно страдает. Когда понятие раздвигается и восстанавливает единство через это раздвоение, оно работает. «Arbeit des Negativen» — это не образ, это точное имя процесса. Негативное работает, и в этой работе есть усилие, сопротивление, усталость и преодоление. Логика у Гегеля не формальна, она онтологична, а онтология включает в себя жизнь. Поэтому язык логики должен включить в себя язык жизни. Гегель насилует жанровые границы: в философский трактат вторгаются слова, которые должны были бы остаться в дневнике, в исповеди, в романе.

Есть здесь и полемический аспект. Гегель спорит с роман-

тической идеей абсолюта как безмятежной игры, как эстетического единства без разрыва. Шеллинг, Шлегель, Новалис — их язык, говорит Гегель, парит в эфире любви и красоты, но упускает боль. «Ernst, Schmerz, Geduld, Arbeit» — эти четыре слова суть полемические удары по романтическому дискурсу. Гегель как бы говорит: ваш язык слишком красив, чтобы быть истинным. Истина требует некрасивого, трудного, болезненного языка. Язык, который не боится говорить «Schmerz» там, где другие говорят «Harmonie».

Соединим две линии этого раздела: спекулятивное предложение и работу негативного. Их связь глубже, чем может показаться. Спекулятивное предложение есть языковая форма, в которой негативное работает. Когда читатель движется от субъекта к предикату и обнаруживает, что предикат есть субстанция субъекта, он переживает *Gegenstoß* — обратный удар. Этот удар есть не что иное, как опыт негативного в самом языке. Субъект предложения отрицается предикатом — не в том смысле, что предикат говорит «нет, это не так», а в том, что предикат показывает: субъект не есть то, чем он казался до приписывания предиката. Читатель теряет субъект, теряет почву, претерпевает негативное. А затем, в обратном движении, он восстанавливает субъект на новом уровне — как конкретное единство, прошедшее через своё иное. Это движение и есть «Arbeit des Negativen», только совершающаяся не в сознании вообще, а в самом акте чтения, в опыте языка. Читатель работает, читатель претерпевает боль поте-

ри смысла и обретает его заново. Язык Гегеля устроен так, чтобы заставить читателя проделать эту работу. В этом его педагогическое насилие: он не даёт истину готовой, он заставляет добывать её через страдание понимания.

Итак, в этом разделе Vorrede Гегель разворачивает свою теорию спекулятивного предложения как прямую рефлекссию над «мышлением против языка» и одновременно демонстрирует её в действии — в пассаже о работе негативного, где язык логики взламывается языком экзистенциального опыта. Обе операции служат одной цели: показать, что истина не может быть высказана в форме, которая не несла бы на себе следов борьбы с этой формой. Философский язык не может быть гладким. Он должен быть полем битвы, на котором форма предложения разрушается единством понятия, а логическое понятие оживает болью и трудом. Гегель заканчивает этот пассаж Vorrede, подводя итог: истина действительно только как система. Но система не есть готовая конструкция, она есть процесс, и её изложение должно быть процессуальным. Процессуальный язык — это язык, который всё время преодолевает сам себя, который в каждом предложении умирает и воскресает. Это язык, мыслящий против самого себя.

4. Введение: критика «орудия познания» и феноменологический метод

Локализация: Einleitung, раздел, открывающий основное тело «Феноменологии духа» после Vorrede. В критическом

издании (Meiner) это страницы 53–62, в собрании сочинений (Suhrkamp, том 3) — страницы 68–81.

Гегель начинает *Einleitung* с атаки на фундаментальную предпосылку всей новоевропейской гносеологии. Эта предпосылка носит не чисто понятийный, а языковой характер: она закреплена в метафорах, без которых мысль о познании, кажется, вообще не может обойтись. Гегель пишет: «Es ist eine natürliche Vorstellung, daß, ehe in der Philosophie an die Sache selbst, nämlich an das wirkliche Erkennen dessen, was in Wahrheit ist, gegangen wird, es notwendig sei, vorher über das Erkennen sich zu verständigen, das als das Werkzeug, wodurch man des Absoluten sich bemächtige, oder als das Mittel, durch welches hindurch man es erblicke, betrachtet wird» — «Естественно представление, что прежде чем в философии приступить к самому делу, а именно к действительному познанию того, что поистине есть, необходимо предварительно договориться о познании, которое рассматривают как орудие, с помощью которого овладевают абсолютным, или как среду, сквозь которую его усматривают». Обратим внимание на глаголы: «sich bemächtigen» — овладевать, «erblicken» — усматривать. Оба предполагают пространственное отношение между познанием и абсолютным: абсолютное есть нечто, чем нужно завладеть или что нужно увидеть через нечто другое. Познание мыслится как посредник, как то, что стоит между сознанием и истиной. И этот посредник описывается двумя метафорами: *Werkzeug* (орудие) и *Medium* (среда).

Гегель сразу показывает, что обе метафоры ведут к противоречию. Разберём их последовательно.

О метафоре орудия он пишет: «Das Werkzeug faßt die Sache nicht, wie sie an sich ist, sondern bringt eine Veränderung an ihr hervor» — «Орудие не схватывает вещь так, как она есть в себе, а производит в ней изменение». Если познание — инструмент, то оно активно воздействует на предмет, трансформирует его. Мы получаем не абсолютное, а абсолютное, обработанное инструментом. Тогда познание не открывает истину, а искажает её. Более того, если мы захотим «отнять» действие инструмента от результата, чтобы получить чистую истину, мы окажемся в порочном круге: «Die Besorgnis, daß das Werkzeug die Sache verändere, setzt voraus, daß wir schon wissen, wie die Sache ohne das Werkzeug beschaffen sei» — «Опасение, что орудие изменяет вещь, предполагает, что мы уже знаем, каково устройство вещи без орудия». А это знание как раз и невозможно, потому что мы не можем заглянуть за инструмент, не пользуясь им. Метафора орудия, таким образом, заводит в тупик: она порождает проблему, которую сама же делает неразрешимой.

С метафорой среды происходит то же самое. Гегель продолжает: «Das Medium läßt das Licht nicht rein hindurch, sondern färbt es mit seiner eigenen Farbe» — «Среда не пропускает свет в чистом виде, а окрашивает его своим собственным цветом». Если познание — среда, то истина доходит до нас преломлённой, окрашенной свойствами самой

среды. Мы опять получаем не абсолютное, а абсолютное плюс свойства познания. И опять, чтобы «вычесть» эти свойства, нужно уже знать абсолютное в чистом виде — чего у нас нет. Обе метафоры структурно идентичны: они помещают познание между сознанием и абсолютным и тем самым делают абсолютное принципиально недоступным.

Теперь — ключевой для нашей темы момент. Гегель не просто указывает на логическую несостоятельность этих метафор. Он показывает, что сама эта несостоятельность коренится в языке, в неизбежности метафорического мышления, когда речь заходит об отношении сознания и предмета. Почему естественное сознание хватается за метафоры орудия и среды? Потому что у него нет другого языка для описания этого отношения. Язык пространственных отношений — единственный доступный язык, когда нужно помыслить связь двух различных сущностей. Мы говорим «между», «через», «посредством» — и эти предлоги уже несут в себе пространственную схему. Гегель не предлагает заменить эти метафоры другими, лучшими метафорами. Он ставит под вопрос само представление о том, что познание есть нечто «между» сознанием и абсолютным. Но как это сделать, не прибегая к метафорам? Гегель отвечает: нужно сменить сам подход. Не спрашивать о познании как об инструменте, а обратиться к опыту сознания, в котором предмет и знание о нём даны вместе и могут сопоставляться друг с другом.

Здесь вступает в силу феноменологический метод. Гегель

пишет: «Das Bewußtsein prüft sich selbst» — «Сознание проверяет само себя». Сознание имеет в себе два момента: момент знания (Wissen) и момент предмета (Gegenstand). Сознание соотносит своё знание с предметом и, если они не совпадают, изменяет и знание, и предмет. Это движение самопроверки и есть опыт (Erfahrung). Феноменология есть наука об опыте сознания. Но как это описать? Здесь Гегель сталкивается с языковой проблемой, которая по масштабу сопоставима с той, что он решал в Vorrede.

Дело в том, что описание опыта сознания требует двойной оптики. Есть то, что сознание испытывает «для себя» (für es), — и есть то, что в этом опыте обнаруживается «для нас» (für uns), для философов, наблюдающих за сознанием. Гегель формулирует это так: «Diese dialektische Bewegung, welche das Bewußtsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstand ausübt, insofern ihm der neue wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt wird» — «Это диалектическое движение, которое сознание производит в себе самом, как в своём знании, так и в своём предмете, поскольку из этого для него возникает новый истинный предмет, есть, собственно, то, что называется опытом». Но тут же добавляет нечто, что меняет всё: «In dieser Darstellung ist es noch nicht für das Bewußtsein; für uns ist es dies, was für das Bewußtsein noch nicht ist» — «В этом изложении оно ещё не существует для сознания; для нас оно есть то, что для сознания ещё

не существует». Сознание не знает того, что знаем мы. Оно наивно проходит свой путь, теряет свои истины, отчаивается, движется дальше. Мы же видим логику этого движения, его необходимость. Язык феноменологии должен удерживать оба плана одновременно.

И вот здесь язык упирается в почти непреодолимую трудность. Гегель не вводит для этой двойной оптики никаких формальных маркеров. Он не пишет: «С точки зрения сознания...», «С нашей же точки зрения...». Он заставляет контекст, интонацию, само развёртывание аргумента удерживать различие между *für es* и *für uns*. Читатель должен постоянно помнить, кто сейчас «видит»: то ли сознание, которое ещё не знает своей истины, то ли мы, которые уже знаем, чем всё кончится. Это требует от языка того, на что он не рассчитан. Естественный язык предполагает единого говорящего, единую точку зрения. Повествование с двойным дном — это удел романа, иронии, но не философского трактата. Гегель делает философский трактат ироническим, не впадая в релятивизм. Он говорит об одном и том же одновременно изнутри и снаружи. Например, когда он описывает, как чувственная достоверность приходит к крушению своей истины, он говорит языком, который одновременно и воспроизводит эту наивную достоверность, и подрывает её. Слова «это», «здесь», «теперь» употребляются так, как их употребляет само сознание, но в контекст они вставлены так, что их несостоятельность видна нам. Это тончайшая языковая ра-

бота: ни разу не сказать «мы-то знаем», но каждой синтаксической конструкцией дать понять, что мы знаем.

Кроме того, сама метафора орудия не просто опровергается и отбрасывается — она снимается. Гегель показывает, что представление о познании как о чём-то отдельном от предмета есть не просто ошибка, а необходимая ступень. Сознание с неизбежностью начинается с того, что мыслит себя и предмет как внешне друг другу. Язык этой ступени — это язык метафор орудия и среды. Феноменология не просто отбрасывает этот язык, она проходит через него, показывает его необходимость и его крах. Это значит, что метафорический язык не есть просто враг, которого нужно уничтожить. Он есть момент самого движения сознания. Гегель не может просто выбросить его, потому что тогда он выбросил бы и ту ступень опыта, на которой этот язык возникает. Он должен включить его в изложение, дать ему прозвучать — и дать ему разрушиться под собственной тяжестью. Это и происходит в *Einleitung* и затем в первых главах самой «Феноменологии».

Таким образом, в *Einleitung* Гегель продолжает и углубляет ту работу над языком, которую он начал в *Vorrede*. Там он показал, что спекулятивное содержание требует разрушения формы предложения. Здесь он показывает, что даже постановка вопроса о познании требует разрушения метафор, которыми эта постановка с неизбежностью пользуется. И то и другое — не просто критика языка, а демонстрация того, что язык является не внешней оболочкой мысли, а той стихии-

ей, в которой мысль живёт, ошибается, страдает и приходит к истине. Феноменологический метод есть метод, при котором язык сознания и язык философа расходятся, но остаются внутри одного и того же текста — и это напряжение между двумя языками, это невозможное сосуществование наивного и спекулятивного в одной фразе и есть то, что делает чтение «Феноменологии» опытом, а не просто получением информации. Гегель мыслит против языка, потому что язык всегда уже склонен занять одну точку зрения, зафиксировать её и остановить движение. А феноменология требует движения, перехода, снятия — и язык должен быть насильственно принуждён к этой текучести, которую его грамматическая природа всячески отвергает.

5. Чувственная достоверность: «это» и «моё»

Локализация: «Феноменология духа», раздел A. Bewußtsein, I. Die sinnliche Gewißheit oder das Diese und das Meinen. В издании Meiner страницы 69–79, в Suhrkamp том 3 — страницы 82–92.

Этот раздел — возможно, самый знаменитый во всей «Феноменологии» и бесспорно самый важный для нашей темы. Именно здесь тезис о «мышлении против языка» не просто реализуется в практике гегелевского письма, но становится прямым предметом высказывания. Гегель здесь не обличает некий частный философский язык, как он делал с формализмом в *Vorrede*; он обличает сам язык как таковой — его природу, его неспособность схватить единичное, его все-

гда-уже-всеобщий характер.

Чувственная достоверность открывает раздел с наивной самоуверенностью. Она кажется себе самым богатым, самым истинным знанием. Гегель пишет: «*Sie erscheint als die reichste Erkenntnis, ja als eine Erkenntnis von unendlichem Reichtum*» — «Она кажется богатейшим познанием, познанием бесконечного богатства». Почему? Потому что она имеет дело с непосредственно данным, с «этим» во всей его полноте. Она ничего не отбрасывает, ничего не опосредует понятиями. Но эта видимость богатства немедленно разоблачается. Стоит только спросить чувственную достоверность: «Что есть Это?» — и она вынуждена ответить. А ответить — значит заговорить. А заговорить — значит вступить в стихию всеобщего. Здесь и происходит катастрофа.

Гегель формулирует эту катастрофу в двух формах: по отношению к объекту («это») и по отношению к субъекту («моё»). Начнём с объекта. Чувственная достоверность хочет высказать единичное «это». Она говорит: «Здесь есть дерево» или «Теперь есть ночь». Гегель показывает, что оба указания рушатся при малейшем движении. «Теперь есть ночь» — мы записываем эту истину. Через несколько часов, когда наступает день, мы смотрим на запись — и истина «прокисает», как выражается Гегель: «*Dieses Jetzt erhält sich nicht, sondern ist vielmehr ein Nichtseiendes*» — «Это „теперь“ не сохраняется, оно, напротив, есть нечто не-сущее». Ночь прошла, теперь день. Но само слово «теперь» не изменилось.

Оно равнодушно пережило смену ночи и дня. Оказывается, что «теперь» как слово не указывает на конкретную ночь, а есть всеобщая форма, вмещающая в себя любое «теперь». Гегель пишет: «Das Jetzt, welches Nacht ist, wird aufbewahrt, d.h. es wird als das behandelt, für was es sich ausgibt, als ein Seiendes; aber es erweist sich als ein Nichtseiendes. Das Jetzt selbst erhält sich wohl, aber als ein solches, das nicht Nacht ist; ebenso erhält es sich gegen den Tag als ein solches, das nicht Tag ist, als ein Negatives überhaupt. Dieses sich erhaltende Jetzt ist daher nicht ein unmittelbares, sondern ein vermitteltes» — «„Теперь“, которое есть ночь, сохраняется, то есть с ним обращаются как с тем, за что оно себя выдаёт, как с сущим; но оно оказывается не-сущим. Само „теперь“ сохраняется, но как такое, которое не есть ночь; равным образом оно сохраняется по отношению к дню как такое, которое не есть день, как негативное вообще. Это сохраняющееся „теперь“ есть поэтому не непосредственное, а опосредованное». Слово «теперь» выжило, но какой ценой? Ценой полной потери содержания. Оно стало «негативным вообще» — пустой формой, вмещающей всё что угодно и потому не означающей ничего конкретного.

То же самое происходит с «здесь». «Здесь есть дерево». Я поворачиваю голову — и «здесь» уже не дерево, а дом. «Hier selbst verschwindet nicht, sondern es ist bleibend im Verschwinden des Hauses, Baumes und so fort, und gleichgültig, Haus, Baum zu sein» — «Само „здесь“ не исчезает, оно есть

пребывающее в исчезновении дома, дерева и так далее, и равнодушно к тому, быть ли домом или деревом». Слово «здесь» выживает, оставаясь тем же самым при смене любого содержания. Оно есть всеобщее «здесь», которое не указывает ни на какое конкретное место, а есть лишь форма указания. Язык, таким образом, совершает подмену: чувственная достоверность мнит, что говорит о единичном, а язык подсовывает ей всеобщее. Гегель формулирует это с предельной резкостью: «Die sinnliche Gewißheit erfährt also, daß ihr Wesen weder in dem Gegenstande noch in dem Ich ist, und die Unmittelbarkeit weder eine Unmittelbarkeit des einen noch des andern ist» — «Чувственная достоверность узнаёт, что её сущность не в предмете и не в „я“, и непосредственность не есть непосредственность ни того, ни другого». А дальше — ключевая фраза: «Sprechen wir das Sinnliche als ein Einzelnes aus, so sprechen wir es als ein Allgemeines aus» — «Высказывая чувственное как единичное, мы высказываем его как всеобщее». Язык не может высказать единичное. Сама операция высказывания превращает единичное во всеобщее.

Теперь — субъективная сторона, «моё». Чувственная достоверность говорит: «Я, этот единичный, вижу это дерево». Но «я» — такое же всеобщее слово, как «теперь» и «здесь». Гегель пишет: «Ich, dieser, sehe den Baum, und behaupte den Baum als das Hier; ein anderer Ich sieht aber das Haus und behauptet, das Hier sei nicht ein Baum, sondern ein Haus. Beide Wahrheiten haben dieselbe Beglaubigung, nämlich die

Unmittelbarkeit des Sehens, und die Sicherheit und Versicherung beider über ihr Wissen. Die eine verschwindet in der anderen» — «Я, этот, вижу дерево и утверждаю дерево как „здесь“; но другой „я“ видит дом и утверждает, что „здесь“ есть не дерево, а дом. Обе истины имеют одно и то же удостоверение, а именно непосредственность видения, и уверенность и заверение обоих в своём знании. Одна исчезает в другой». Моё единичное «я» сталкивается с другим единичным «я», и их истины взаимно уничтожаются. Когда я говорю «я», я полагаю, что указываю на себя как на этого единственного. Но слово «я» говорят все. «Jeder ist das, was er sagt: Ich» — «Каждый есть то, что он говорит: Я». Слово «я» есть всеобщее, оно обозначает любого говорящего. Чувственная достоверность хочет сказать «этот единственный я», но язык даёт ей только «я вообще».

Здесь Гегель делает прямое и ошеломляющее заявление о языке. Он пишет: «Die Sprache aber ist, wie wir sehen, das Wahrhaftere; in ihr widerlegen wir selbst unmittelbar unsere Meinung, und da das Allgemeine das Wahre der sinnlichen Gewißheit ist, und die Sprache nur dieses Wahre ausdrückt, so ist es gar nicht möglich, daß wir ein sinnliches Sein, das wir meinen, je sagen können» — «Но язык, как мы видим, есть более истинное; в нём мы сами непосредственно опровергаем наше мнение; и так как всеобщее есть истинное чувственной достоверности, а язык выражает только это истинное, то совершенно невозможно, чтобы мы когда-либо мог-

ли высказать чувственное бытие, которое мы имеем в виду». Это поразительный поворот. Язык «более истинен» (das Wahrhaftere), чем сознание, которое на нём говорит. Сознание мнит, что имеет в виду единичное, но когда оно открывает рот, язык заставляет его говорить всеобщее. Язык опровергает мнение (Meinung) говорящего — и делает это не когда-то потом, в отдалённой рефлексии, а «непосредственно» (unmittelbar), в самом акте речи. Мы не можем высказать то, что мы «мним» (meinen). Глагол «meinen» у Гегеля здесь приобретает терминологический смысл: мнение — это интенция сознания, направленная на единичное, которая принципиально невыразима в языке. Язык всегда выдаёт всеобщее. «Meinung» — это то в сознании, что сопротивляется языку и что язык неизбежно предаёт.

Гегель закрепляет этот тезис почти афористической формулой: «Das Unsagbare, das Unaussprechbare ist das Unwahre, das Unvernünftige» — «Несказанное, невыразимое есть неистинное, неразумное». То, что нельзя высказать, не имеет истины. Единичное как единичное невыразимо — значит, оно не есть истинное. Истинно только всеобщее, которое и есть стихия языка. Это настоящий переворот по отношению ко всей предшествующей традиции, которая видела в единичном, в «вот этом» подлинную реальность, а в языке — лишь бледную копию. Гегель переворачивает это отношение: реально всеобщее, а единичное есть иллюзия, которая держится лишь до тех пор, пока мы молчим. Как только мы на-

чинаем говорить, иллюзия рассеивается.

Но диалектика чувственной достоверности на этом не заканчивается. Сознание пытается спасти единичное через акт указания. Если нельзя сказать единичное словами, можно хотя бы указать на него пальцем. Гегель разбирает и эту попытку — и здесь происходит нечто ещё более глубокое. Указание пальцем тоже не спасает. Почему? Потому что акт указания разворачивается во времени. Я указываю на «это теперь» — но пока я указываю, «теперь» уже прошло. «Das Jetzt wird gezeigt, es ist das Jetzt. Jetzt; es ist schon nicht mehr, indem es gezeigt wird» — «„Теперь“ показывают; оно есть „теперь“; но когда его показывают, его уже больше нет». Указание всегда опаздывает. То, на что я указываю, уже исчезло, и моё указание попадает в пустоту или, точнее, в новое «теперь», которое тут же исчезнет. Гегель продолжает: «Das aufgezeigte Jetzt ist ein gewesenes, und dies ist seine Wahrheit; es hat nicht die Wahrheit des Seins. Es ist also doch dies wahr, daß es gewesen ist. Aber was gewesen ist, ist in der Tat kein Wesen; es ist nicht, und um das Sein war es zu tun» — «Показанное „теперь“ есть нечто бывшее, и в этом его истина; оно не имеет истины бытия. Таким образом, истинно всё же то, что оно было. Но то, что было, на деле не есть сущность; его нет, а речь шла о бытии».

Указание на «здесь» терпит столь же сокрушительный крах. «Hier» — это не точка, а множество точек, расположенных в пространстве. «Hier ist nicht ein Baum, sondern in

Wahrheit ist es ein Haus. Oben, unten, rechts, links, vorn, hinten. Das Hier ist also eine Vielheit von Hier, eine einfache Menge von Hier» — «„Здесь“ есть не дерево, а по истине — дом. Вверху, внизу, справа, слева, спереди, сзади. „Здесь“ есть множество „здесь“, простая совокупность „здесь“». Когда я указываю на «здесь», я указываю на точку, которая тут же обрастает другими точками, другими «здесь». Само указание предполагает пространство, в котором «здесь» всегда окружено другими «здесь» и может быть выделено только через отношение к ним. То есть «здесь» есть не что иное, как всеобщая пространственная форма, а не единичная точка.

Итог этого движения Гегель подводит в пассаже, который прямо отсылает к практике языка. Когда чувственная достоверность хочет удержать единичное и говорит: «Это есть», — она говорит нечто, что немедленно исчезает. Но само это исчезновение, сам акт отрицания единичного и есть истина. Истина чувственной достоверности — не покоящееся «это», а движение, в котором «это» исчезает и переходит в «не-это», а затем в новое «это». Это движение и есть всеобщее. Гегель заключает: «Es wird also das Sinnliche, das Einzelne ausgesprochen — es wird als Allgemeines ausgesprochen. Die Sprache spricht in der Tat nur das Allgemeine aus; das Einzelne, das gemeint wird, kann nicht gesagt werden» — «Чувственное, единичное высказывается — и высказывается как всеобщее. Язык на деле высказывает только всеобщее; единичное, которое имеют в виду, не может быть сказано».

В этом разделе Гегель не просто анализирует чувственную достоверность — он анализирует сам язык в его фундаментальной структуре. Язык есть стихия всеобщего. Он не может схватить единичное, потому что его природа — делать всё, к чему он прикасается, всеобщим. Сказать — значит универсализировать. Это не недостаток языка, который можно исправить (например, придумав язык, состоящий из одних имён собственных). Это сущность языка, и именно поэтому язык «более истинен», чем чувственная достоверность. Чувственная достоверность есть иллюзия единичного. Язык разоблачает эту иллюзию. Но разоблачение это происходит через насилие: сознание хочет сказать одно, а говорит другое. Это не просто ошибка, это диалектически необходимый момент. Без этого насилия языка над мнением сознание никогда не вышло бы за пределы мнимого богатства чувственного и не вступило бы на путь опыта, ведущий к понятию.

Таким образом, раздел о чувственной достоверности есть момент в «Феноменологии», где «мышление против языка» оборачивается «мышлением самого языка против сознания». Язык здесь не инструмент, которым философ пользуется, чтобы выразить мысль. Язык есть самостоятельная сила, которая опровергает намерения говорящего и вынуждает его признать истину всеобщего. Философ не насилует язык — это язык насилует сознание, и философ лишь фиксирует это насилие, делает его видимым. Гегель здесь достигает

предела лингвистической рефлексии: он показывает, что сама форма высказывания содержит в себе спекулятивное содержание, что грамматика уже есть логика, что язык всегда уже говорит всеобщее, даже когда говорящий этого не хочет. И именно поэтому философия может опереться на язык — не как на послушное орудие, а как на стихию, которая сама знает истину лучше, чем сознание, которое в ней говорит.

6. Восприятие: вещь, свойства и рассудочная софистика

Локализация: «Феноменология духа», раздел А. Bewußtsein, II. Die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung. В издании Meiner страницы 79–93, в Suhrkamp том 3 — страницы 93–107.

Если в чувственной достоверности язык разоблачал претензию сознания на схватывание единичного, то в восприятии он берётся за следующую ступень: за вещь с её свойствами. Воспринимающее сознание уже усвоило урок предыдущего раздела: оно знает, что истина не в единичном «этом», а во всеобщем. Но его всеобщее — это вещь, обладающая многими свойствами. Соль бела, кубична, солон на вкус, остра на ощупь. Вещь есть единство этих свойств, их носитель. Казалось бы, здесь язык работает без напряжения: субъект («соль»), связка («есть»), предикаты («белая», «кубическая», «солёная»). Но именно на этой, казалось бы, мирной грамматической территории Гегель обнаруживает новую катастрофу. Её агент — маленькое, почти незаметное слово

«также» (Auch). Именно оно оказывается главным действующим лицом диалектики восприятия.

Гегель начинает с того, как сознание проговаривает вещь. «Das Salz ist weiß, auch scharf, auch kubisch, auch von bestimmter Schwere, auch salzig и так далее» — «Соль белая, также остра, также кубична, также определённого веса, также солонна». Этот ряд предикатов нанизывается на союз «также». Что делает это «также»? Оно соединяет свойства, не ставя их в отношение друг к другу. Белое не есть острое, острое не есть кубическое. Они просто «также» присутствуют. «Auch» есть языковой оператор безразличной совместности. Он создаёт видимость, что свойства сосуществуют в вещи мирно, не мешая друг другу, как предметы в корзине. Гегель называет это «das Auch der Eigenschaften» — «„также“ свойств». Он пишет: «Dieses Auch ist also das reine Allgemeine selbst, oder das Medium, die Dingheit, die sie so zusammenfaßt» — «Это „также“ есть, следовательно, само чистое всеобщее, или среда, вещьность, которая их так соединяет». Обратим внимание на слово «Medium». Здесь оно возвращается в новом значении: не среда познания, как в Einleitung, а среда вещи, то, в чём свойства существуют совместно. Но это «Medium» есть не что иное, как слово «также». Грамматический оператор перечисления становится онтологической структурой вещи. Язык здесь не отражает вещь, а активно конструирует её форму: вещь есть «также» своих свойств.

Однако эта конструкция немедленно начинает разрушаться. Почему? Потому что вещь не есть только «также». Она есть также единое, «Eins». Соль — это одна вещь, а не просто коллекция свойств. Когда я говорю «соль есть белая, также острая, также солёная», я перечисляю свойства, но я подразумеваю, что за ними стоит нечто — сама соль как единое. Но как это единое присутствует в языке? Гегель показывает, что язык не может удержать одновременно «также» и «единое». Когда сознание говорит «вещь есть единое», оно исключает множественность свойств. Когда оно говорит «вещь имеет свойства», единое распадается на «также». Возникает колебание, которое Гегель описывает так: «Das Ding ist das Eins, das Auch, das sich in die selbständigen Materien auflöst; und es ist ebenso das Eins, das sie in sich zurücknimmt» — «Вещь есть то единое, то „также“, которое растворяется в самостоятельных материях; и она в равной мере есть то единое, которое забирает их обратно в себя». Сознание не может остановиться ни на одной из этих двух сторон. Оно перебегает от «вещь едина» к «вещь есть множество свойств» и обратно. Язык с его союзом «также» всё время подталкивает сознание к тому, чтобы рассыпать вещь на перечисление. Но как только сознание принимает эту рассыпанную вещь за истину, его тут же подстерегает вопрос: а что же делает эту соль именно солью, если она есть просто белое плюс острое плюс солёное? Сознание отступает назад, к единству. И так без конца.

Здесь Гегель переходит от описания колебания к анализу тех уловок, с помощью которых сознание пытается спасти свою истину. Он называет это «Sophisterei des Wahrnehmens» — «софистика восприятия». Суть софистики в том, что сознание попеременно приписывает противоречие то себе, то вещи. Когда единство вещи распадается на множество свойств, сознание говорит: «Это не вещь противоречива, это я ошибаюсь, это моя рефлексия вносит различие». Когда же множество свойств требует единства, сознание говорит: «Нет, это сама вещь едина, а множественность есть лишь видимость для другого». Гегель пишет об этом с язвительной точностью: «Das Bewußtsein erklärt das eine Mal die Täuschung für einen Fehler an ihm selbst, das andere Mal die Täuschung für eine Täuschung an den Dingen» — «Сознание один раз объявляет иллюзию ошибкой в себе самом, другой раз — иллюзией в самих вещах». Это перебрасывание противоречия туда-сюда и есть рассудочная софистика. Сознание не может удержать противоречие как истину — оно всё время пытается от него избавиться, приписав его какой-то одной стороне.

И здесь язык играет ключевую роль. Гегель показывает, что именно языковые формы дают сознанию готовые схемы для этой софистики. Возьмём пару «в-себе» (an sich) и «для-другого» (für anderes). Сознание говорит: «Вещь есть в-себе единое, но для другого она распадается на свойства». Союз «но» (aber) здесь работает так же, как «также»: он создаёт ви-

димось мирного сосуществования двух противоположных определений. «Вещь есть единое, но также и множественное». «Она есть в-себе покоящаяся, но для-другого — изменчивая». Язык позволяет нанизывать эти определения через союзы «но» и «также», не требуя их действительного синтеза. Гегель разоблачает эту грамматическую уловку. Противоречие не снимается союзом «но» — оно лишь прикрывается им. «Aber» и «auch» суть словесные пластыри, которые сознание накладывает на рану противоречия, но рана не заживает.

Более того, сам переход от чувственной достоверности к восприятию был, как показывает Гегель, предопределён языком. Чувственная достоверность погибла на том, что язык не может сказать единичное. Но что предложил язык взамен? Вещь с её свойствами — то есть субъект с предикатами. Форма суждения «S ist P» стала формой самой вещи. Восприятие есть не что иное, как сознание, которое приняло грамматическую структуру предложения за онтологическую структуру реальности. Оно мыслит мир как совокупность субъектов, к которым прикреплены предикаты. Но уже в Vorrede Гегель показал, что эта форма недостаточна для спекулятивного содержания. Теперь он показывает, что она недостаточна даже для самого обыденного восприятия. Вещь не умещается в форму «S ist P», потому что она одновременно едина и множественна, есть «в-себе» и «для-другого». Эти определения не укладываются в простое приписывание предиката

субъекту — они требуют диалектического движения, которое грамматика суждения блокирует.

Кульминация этого раздела — понятие «безусловной всеобщности» (*unbedingte Allgemeinheit*), которое возникает, когда сознание наконец понимает, что истина восприятия не в покоящейся вещи с её свойствами, а в движении, которое связывает единство и множественность, в-себе и для-другого. Но это движение уже не может быть выражено простым перечислением через «также» или уступительным «но». Оно требует нового языка — языка сил, закона и рассудка, к которому Гегель переходит в следующем разделе. Язык восприятия исчерпал себя; его грамматические ресурсы оказались ловушкой, которая имитирует синтез, но на деле даёт лишь софистическое лавирование между противоположностями.

Таким образом, в разделе о восприятии Гегель продолжает свою критику языка, но на новом уровне. Если в чувственной достоверности язык разоблачал себя как стихия всеобщего, то здесь он разоблачает себя как машина, производящая видимость примирения там, где на деле — неразрешённое противоречие. Союзы «также» и «но» оказываются главными виновниками софистики восприятия. Они позволяют сознанию говорить «и то, и другое», не совершая при этом работы понятия. Гегель вскрывает этот механизм и показывает, что грамматическая форма перечисления и уступительности есть форма неистинного знания. Истина не в «также», а в движении, которое снимает «также» и показы-

вает, как одно определение переходит в другое — без всякого «также», через негацию. Но для этого нужен уже не язык восприятия, а язык рассудка, к анализу которого Гегель приступает немедленно. «Мышление против языка» здесь есть разоблачение союзов: философ выдёргивает из речи её скрепы и показывает, что на этих скрепах держится не истина, а лишь её видимость.

7. Рассудок, сила и закон, чувственный и сверхчувственный мир

Локализация: «Феноменология духа», раздел A. Bewußtsein, III. Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt. В издании *Meiner* страницы 93–120, в *Suhrkamp* том 3 — страницы 107–134.

Этот раздел завершает движение сознания как такового и готовит переход к самосознанию. С точки зрения языка он особенно интересен тем, что здесь Гегель работает с физическими метафорами и показывает, как рассудок, сам того не осознавая, порождает «сверхчувственный мир» собственными языковыми операциями. «Мышление против языка» предстаёт здесь как разоблачение метафоры, которая приняла себя за реальность.

Рассудок вступает на сцену, унаследовав от восприятия понятие вещи как единства «в-себе» и «для-другого». Но рассудок не хочет больше колебаться между этими определениями. Он хочет проникнуть за явления, найти их «внутреннее». Гегель описывает это стремление через ключевое

понятие раздела — «Kraft» (сила). Сила — это первая форма, в которой рассудок мыслит истинное как нечто, лежащее за явлениями. Гегель пишет: «Das Innere der Dinge ist die Kraft» — «Внутреннее вещей есть сила». Но что такое сила? Она есть нечто, что выражается (äußert sich) и одновременно остаётся внутри себя. Гегель разворачивает диалектику силы через глаголы «Äußern» (выражать, проявлять вовне) и «Zurückgehen in sich» (возвращаться в себя). Сила должна выразиться, иначе она ничто; но когда она выразилась, она стала чем-то иным, она ушла из себя. Поэтому сила снова уходит внутрь, она «возвращается в себя». Это движение Hegel описывает как «Spiel der Kräfte» — игру сил, в которой одна сила побуждает другую к выражению, а та, выражаясь, побуждает первую уйти внутрь.

Обратим внимание на язык, которым всё это описывается. Гегель говорит: «Die Kraft entäußert sich» — «Сила овнешняет себя». «Entäußern» — это глагол с теологическим подтекстом, отсылающий к кенозису, к воплощению. Сила не просто действует, она именно «овнешняет» себя — становится внешней, теряет себя во внешнем и должна вернуться. Гегель также использует глагол «sich zurücknehmen» — «забирать себя обратно». Это уже язык рефлексии, самознания, применённый к физическому понятию. Здесь происходит тонкая языковая работа: Гегель берёт физическое понятие «сила» и последовательно нагружает его глаголами, которые принадлежат сфере духа — «выражать себя», «ов-

нешнять», «возвращаться в себя». Физика говорит языком метафизики. Но Гегель делает это не для того, чтобы одушевить природу, а чтобы показать, что сам рассудок, сам того не замечая, уже мыслит природу как дух — что его «сила» есть не физическое, а логическое понятие, замаскированное под физическое.

Из диалектики силы рождается понятие закона (Gesetz). Когда рассудок видит, что силы не просто играют, а делают это устойчивым, повторяющимся образом, он формулирует закон. Гегель приводит примеры: закон электричества, закон тяготения. Закон гласит: «явление А всегда сопровождается явлением В». В отличие от силы, которая беспокойна и всё время уходит в себя, закон есть «das ruhige Bild der Erscheinung» — «спокойный образ явления». В законе игра сил застывает в устойчивую формулу. Гегель пишет: «Das Gesetz ist das bleibende Bild der unsteten Erscheinung» — «Закон есть пребывающий образ непостоянного явления». Язык закона — это язык констатации, язык «если — то». Он фиксирует отношение и делает его постоянным.

Но здесь и начинается самая важная для нашей темы работа. Гегель показывает, что рассудок, формулируя закон, не просто описывает некую реальность, лежащую за явлениями. Он впервые эту реальность и создаёт. «Das Übersinnliche ist das ruhige Reich der Gesetze» — «Сверхчувственное есть спокойное царство законов». Сверхчувственный мир не существует до рассудка и независимо от него. Он порождает

ется актом рассудка, который говорит: за явлениями стоит закон. Сама операция языка — формулирование закона в виде «А есть причина В» — производит сверхчувственное как особую реальность. Рассудок создаёт потусторонний мир своим собственным языковым жестом, а затем удивляется, что этот мир недоступен чувствам. Гегель вскрывает этот механизм с убийственной точностью: «Das Innere ist für den Verstand ein Jenseits des Bewußtseins, aber es ist in Wahrheit sein eigenes Produkt» — «Внутреннее есть для рассудка потустороннее сознанию, но поистине оно есть его собственный продукт». Язык рассудка гипостазировывает собственные конструкции, превращает грамматические отношения в онтологические сущности.

Далее Гегель переходит ко второму закону — закону различения, который уже не просто констатирует регулярность, а вводит противоположности. Здесь он обращается к примерам из физики: магнит с его полюсами, электричество с его положительным и отрицательным зарядами. Закон теперь гласит: одноимённое отталкивается, разноимённое притягивается. На первый взгляд, это спокойный закон, как и предыдущий. Но Гегель показывает, что внутри этого закона скрыто противоречие. В самом деле: что значит «одноимённое отталкивается»? Это значит, что нечто (северный полюс магнита) отталкивает то, что ему одноимённо (другой северный полюс). Но если они одноимённы, они тождественны. Тогда закон гласит: тождественное отталкивает тождествен-

ное. То есть тождественное относится к себе как к иному. А это уже не спокойный закон, а противоречие. Гегель пишет: «In diesem Gesetze drückt sich die Entgegensetzung aus, aber so, daß sie in der Form der Ruhe, der Gleichheit bleibt» — «В этом законе выражается противоположение, но так, что оно остаётся в форме покоя, равенства». Язык закона говорит «А равно А, но А не есть А». Противоречие втиснуто в форму мирной констатации. Язык здесь скрывает диалектику, придавая ей вид тождества.

И вот здесь Гегель делает решающий шаг. Он показывает, что за этим вторым законом, за этим «спокойным» противоречием стоит нечто третье — «бесконечность» (Unendlichkeit). Бесконечность — это не ещё один закон, а сама структура движения, в котором противоположности переходят друг в друга. Гегель даёт ей знаменитое определение: «Diese einfache Unendlichkeit, oder der absolute Begriff, ist das einfache Wesen des Lebens, die Seele der Welt, das allgemeine Blut zu nennen, welches allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das vielmehr selbst alle Unterschiede ist, so wie ihr Aufgehobensein, also in sich pulsiert, ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu sein» — «Эта простая бесконечность, или абсолютное понятие, есть простая сущность жизни, душа мира, всеобщая кровь, которая, везде присутствуя, не замутняется и не прерывается никаким различием, а, напротив, сама есть все различия и их снятость, и, таким образом, пульси-

рует в себе, не двигаясь, содрогается в себе, не будучи беспокойной».

Этот пассаж — один из самых поразительных в «Феноменологии» по своему языку. Гегель покидает регистр физической науки, в котором он говорил о силе и законе, и переходит в регистр, который соединяет логическое («абсолютное понятие»), биологическое («сущность жизни», «кровь», «пульсирует»), теологическое («душа мира») и поэтическое («всеобщая кровь», «содрогается в себе»). Это взрыв языка. Логическое понятие «бесконечность» не может быть адекватно высказано в терминах, которыми до сих пор пользовался рассудок. Рассудок говорит: «А не есть не-А». Бесконечность говорит: «А есть не-А в своём инобытии и возвращается к себе через это инобытие». Но сказать это прямо — значит употребить язык, который сам есть отрицание рассудочного языка. Гегель не даёт формальной дефиниции бесконечности. Он даёт серию метафор, которые сталкиваются друг с другом: кровь, душа, пульсация, содрогание, покой, движение. Эти метафоры не складываются в единую картину, они удерживают читателя в напряжении между несовместимыми планами: как может кровь быть «всеобщей»? как можно «пульсировать, не двигаясь»? «содрогаться, не будучи беспокойным»? Каждая фраза здесь есть маленькое спекулятивное предложение, в котором предикат отменяет буквальный смысл субъекта и требует переосмысления. Язык доводится до кипения, чтобы выразить то, что в

спокойном языке закона невыразимо.

Но именно здесь рассудок, сам того не зная, становится самосознанием. Бесконечность как структура «я, которое есть мы, и мы, которое есть я» — это уже не закон физики, а форма самосознания. Гегель завершает раздел знаменитой фразой: «Das Bewußtsein eines Andern, eines Gegenstandes überhaupt, ist zwar selbst notwendig Selbstbewußtsein, Reflektiertsein in sich, Bewußtsein seiner selbst in seinem Anderssein. Der notwendige Fortgang von den bisherigen Gestalten des Bewußtseins, welchen ihr Wahres ein Ding, ein Anderes war, als sie selbst, drückt dies aus, daß nicht allein das Bewußtsein vom Dinge nur für ein Selbstbewußtsein möglich ist, sondern daß dies allein die Wahrheit jener Gestalten ist» — «Сознание иного, какого-либо предмета вообще, само необходимо есть самосознание, рефлексированность в себя, сознание самого себя в своём инобытии. Необходимый переход от предыдущих формообразований сознания, для которых их истинным было нечто иное, вещь, отличная от них самих, выражает то, что не только сознание вещи возможно лишь для самосознания, но что лишь самосознание есть истина этих формообразований». Язык сил, законов и сверхчувственного мира исчерпал себя — и на его руинах возникает язык самосознания, к которому «Феноменология» переходит в следующем разделе.

В разделе о рассудке Гегель делает видимой ту работу, которую язык совершает за спиной сознания. Рассудок го-

ворит о силах, законах, сверхчувственном мире — и думает, что описывает объективную реальность. На деле он порождает эту реальность своими собственными языковыми операциями: гипостазирует метафоры, фиксирует отношения в форме законов, скрывает противоречия под грамматическим покровом тождества. «Мышление против языка» здесь есть разоблачение этого порождения: Гегель показывает, что «внутреннее», «закон», «сверхчувственное» суть не что иное, как овеществлённые языковые формы. А когда язык рассудка доходит до своего предела — до закона, в котором тождественное отталкивает тождественное, — он взрывается изнутри, и из этого взрыва рождается бесконечность, которая требует уже совершенно иного языка: не констатирующего, а спекулятивного, не фиксирующего, а движущегося вместе с предметом. Гегель завершает раздел, взломав границу между физикой и метафизикой, между логикой и поэзией, между понятием и метафорой. Этот взлом и есть «мышление против языка» в его самой зрелищной форме: язык, который преодолевает сам себя, чтобы дать высказаться тому, что в нём самом не умещалось.

8. Самосознание, господство и рабство

Локализация: «Феноменология духа», раздел В. Selbstbewußtsein, IV. Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst, A. Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knechtschaft. В издании Meiner страницы 120–136, в Suhrkamp том 3 — страницы 137–155.

Мы вступаем в раздел, который является, вероятно, самым читаемым и комментируемым во всей «Феноменологии». Парадокс нашего анализа в том, что именно здесь, где язык становится центральной силой духовной жизни, Гегель, казалось бы, не говорит о языке прямо — в отличие от раздела о чувственной достоверности, где язык был главным действующим лицом. Но эта имплицитность обманчива. На самом деле диалектика господина и раба вся пронизана языковыми структурами, речевыми актами и, главное, самой логикой высказывания, которая здесь доводится до предела противоречивости. «Мышление против языка» предстаёт здесь не как критика метафор или грамматических форм, а как удержание в языке такого противоречия, которое обычный язык вынести не может.

Гегель начинает с определения самосознания как желания (Begierde). Но это не просто биологическое влечение. Желание самосознания направлено на другое самосознание. Ключевая формула: «Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußtsein» — «Самосознание достигает своего удовлетворения только в другом самосознании». Это означает, что самосознание с самого начала существует в стихии взаимности, которая по своей структуре есть не что иное, как стихия языка. Желание быть признанным — это желание, чтобы другой сказал «ты», чтобы другой обратился ко мне и своим обращением конституировал меня как самосознание. Признание есть речевой акт

ещё до того, как он становится эксплицитной речью. Структура обращения уже встроена в желание.

Затем разворачивается знаменитая сцена борьбы за признание. Два самосознания встречаются. Каждое хочет, чтобы другое признало его, но само не хочет признавать другого — потому что признать другого значит признать его равным себе, то есть утратить свою исключительность. Возникает «Kampf auf Leben und Tod» — борьба на жизнь и смерть. Обратим внимание на то, что это не просто физическая драка. Это борьба за то, что может быть только высказано. Один хочет, чтобы другой признал его господином. Признал — то есть сказал (или хотя бы помыслил, что для Гегеля уже есть форма внутренней речи): «Ты господин, я раб». Без этого высказывания, хотя бы потенциального, борьба бессмысленна.

Исход борьбы известен: один испугался смерти и сдался, другой не испугался и победил. Так возникают фигуры господина (Herr) и раба (Knecht). И здесь начинается диалектика, которая вся построена на противоречии, невыразимом в простом суждении.

Господин победил. Он заставил раба работать на себя. Казалось бы, он достиг признания. Но что это за признание? Раб признаёт господина, но сам раб не признан господином. Господин не признаёт раба равным себе — он признаёт его только как вещь, как орудие. Следовательно, признание, которое господин получает, исходит от того, кто сам

не обладает самосознанием в глазах господина. Гегель описывает это с холодной точностью: «Der Herr bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch das selbständige Sein; denn gerade hieran wird der Knecht gehalten; es ist seine Kette, von der er im Kampfe nicht abstrahieren konnte, und darum sich als unselbständig erwies, seine Selbständigkeit in der Dingheit zu haben. Der Herr aber ist die Macht über dieses Sein, denn er erwies im Kampfe, daß es ihm nur als ein Negatives gilt; indem er die Macht darüber, dies Sein aber die Macht über den Andern ist, so hat er in diesem Schlusse diesen Andern unter sich» — «Господин относится к рабу опосредованно через самостоятельное бытие; ибо именно этим бытием раб удерживается; это его цепь, от которой он не мог абстрагироваться в борьбе, и потому он оказался несамостоятельным, имея свою самостоятельность в вещиности. Господин же есть власть над этим бытием, ибо он показал в борьбе, что оно имеет для него значение лишь негативного; обладая властью над этим бытием, а это бытие есть власть над другим, он в этом умозаключении имеет этого другого под собой». Господин господствует над рабом через вещь. Но именно поэтому он не входит в прямое отношение с рабом как с самосознанием. Он потребляет вещи, которые производит раб, и через это потребление относится к рабу. Но это отношение не есть признание.

Теперь попробуем высказать эту ситуацию в форме суждения. «Господин признан». Так? Но кем? Рабом. А раб признан? Нет. Может ли непризнанный признавать? Это всё рав-

но что сказать: «Тот, кто не имеет права говорить, говорит мне: ты прав». Формально акт речи совершён, но он лишён силы. Гегель не формулирует это прямо, но логика его аргументации подводит к тому, что признание со стороны раба есть противоречивый речевой акт: это признание, которое не признаёт самого себя в качестве правомочного признавать. Господин получает слово «ты господин» от того, чьё слово ничего не стоит. Это слово — пустое. Оно не достигает того, что должно достичь. Язык здесь даёт сбой: речевой акт совершён по всем внешним правилам, но его перформативная сила равна нулю.

Гегель делает из этого вывод, который и составляет ядро диалектики господина и раба: «Es ist darin die Wahrheit des selbständigen Bewußtseins das knechtische Bewußtsein» — «Истиной самостоятельного сознания оказывается рабское сознание». Господин, который казался победителем, на деле несамостоятелен. Он зависит от раба и в потреблении (ему нужно, чтобы раб производил вещи), и в признании (ему нужно признание раба, но оно обесценено тем, что раб не признан). Раб же, напротив, проходит путь к самостоятельности. И здесь мы должны обратить внимание на два ключевых момента: страх (Furcht) и труд (Arbeit).

Страх перед смертью, перед «абсолютным господином» — это не просто эмоция. Это опыт, в котором всё твёрдое расплавилось. Гегель пишет: «Dieses Bewußtsein hat nämlich nicht um dieses oder jenes, noch für diesen oder jenen

Augenblick Angst gehabt, sondern um sein ganzes Wesen; denn es hat die Furcht des Todes, des absoluten Herrn, empfunden. Es ist darin innerlich aufgelöst worden, hat in sich selbst durchaus erzittert, und alles Fixe hat in ihm gebebt» — «Это сознание испытывало страх не по тому или иному поводу, не в тот или иной момент, а за всю свою сущность; ибо оно ощутило страх смерти, абсолютного господина. Оно в этом страхе внутренне растворилось, совершенно содрогнулось в себе самом, и всё неподвижное в нём задрожало». Этот страх есть, по сути, внутреннее слово, обращённое к самому себе. Раб говорит себе: «Я — ничто перед лицом смерти». Это акт самовысказывания, в котором самосознание отказывается от своей непосредственной единичности. Страх проговаривает конечность «я», и это проговаривание есть первая ступень освобождения.

Труд есть вторая ступень. Раб трудится над вещью, формирует её. Но труд — это не немое действие. Труд есть выражение самосознания в материи, своего рода материализованная речь. Гегель пишет: «Die Arbeit ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden, oder sie bildet» — «Труд есть заторможенное желание, задержанное исчезновение, или он формирует». Вместо того чтобы потребить вещь и уничтожить её, раб её обрабатывает — и в этой обработке оставляет на ней отпечаток своего «я». Вещь становится знаком раба, его высказыванием в материи. Гегель говорит: «Das arbeitende Bewußtsein kommt also hierdurch zur Anschauung

des selbständigen Seins als seiner selbst» — «Работающее сознание приходит таким образом к созерцанию самостоятельного бытия как самого себя». Раб видит себя в вещи, которую он сделал. Это уже семиозис: вещь означает своего создателя. Труд есть пра-язык, первая форма означивания, в которой самосознание полагает себя вовне и узнаёт себя в этом внешнем.

Таким образом, страх и труд вместе образуют то, что можно назвать языком раба — языком, который не есть говорение в узком смысле, но который есть означивание себя в мире. Раб говорит через свой страх («я ничто») и через свой труд («вот я, в этой вещи»). Это противоречивое двойное высказывание: «я ничто» и «я есмь». Именно это противоречие и есть двигатель, который ведёт раба к стоицизму, то есть к сознанию, которое мыслит себя свободным независимо от внешних обстоятельств.

Вернёмся к центральному вопросу: где здесь «мышление против языка»? В отличие от чувственной достоверности, где язык прямо тематизировался, здесь он скрыт в структуре самого отношения. Гегель описывает ситуацию, которая по своей сути есть речевая, но при этом не может быть адекватно высказана ни одним из участников. Господин не может высказать свою истину, потому что она противоречива: он говорит «я господин», но это «я» держится на рабе, который не признан. Раб не может высказать свою истину, потому что он ещё не знает её: он говорит «я раб», но в труде

и страхе он уже больше чем раб. Оба находятся внутри языка, который не поспевает за их действительным положением. Язык с его субъектно-предикатной формой требует, чтобы каждый был либо господином, либо рабом. Но диалектика показывает, что господин есть на деле раб своего раба, а раб есть на деле господин своего господина. Это не просто парадокс, это взрыв предикативной формы. Сказать «господин есть раб» — значит произнести спекулятивное предложение в чистом виде, где предикат уничтожает субъект и заставляет переосмыслить всё значение «господства». Гегель не говорит этого прямо, но его текст движется именно к этому выводу.

Более того, сам Гегель как повествователь вынужден удерживать в своём языке это противоречие, не снимая его преждевременно. Он говорит о господине и рабе, но его собственная речь не встаёт ни на сторону одного, ни на сторону другого. Она всё время движется между ними, показывая, как одно переходит в другое. Это требует от философского языка невозможного: сохранять позицию «für uns», которая видит то, чего не видит ни один из участников, и при этом не превращать это «für uns» в догматическое утверждение. Гегель решает эту задачу через сам стиль изложения: через последовательное развёртывание, в котором каждое определение снимается следующим, и читатель проходит путь от иллюзии господства к истине рабства вместе с самим сознанием. Это насилие над языком повествования: рассказчик знает развязку с самого начала, но не имеет права сказать её

раньше времени. Он должен дать языку пройти через противоречие, а не обойти его.

Наконец, страх и труд образуют то, что можно назвать «языком до языка». Гегель показывает, что самосознание освобождается не через говорение в обычном смысле, а через опыт, который структурирован как язык: страх есть внутреннее проговаривание своей конечности, труд есть внешнее означивание себя в вещи. Оба эти акта суть акты означивания, то есть в широком смысле языковые акты. Но они происходят до того, как самосознание обретает способность эксплицитно говорить о себе. Это означает, что язык как стихия духа шире, чем язык как система слов. И Гегель заставляет нас увидеть эту более широкую языковую стихию в том, что обычно считается немым: в страхе и в труде. «Мышление против языка» здесь означает: мышление против отождествления языка с говорением, против редукции языкового к вербальному. Дух говорит, даже когда молчит. Гегель заставляет философский язык уловить это молчаливое говорение — и это требует от языка выхода за собственные пределы, в сферу, где он только ещё становится собой.

9. Свобода самосознания: стоицизм, скептицизм, несчастное сознание

Локализация: «Феноменология духа», раздел В. Selbstbewußtsein, IV. В. Freiheit des Selbstbewußtseins; Stoizismus, Skeptizismus und das unglückliche Bewußtsein. В издании *Meiner* страницы 136–156, в *Suhrkamp* том 3 —

страницы 155–176.

Этот раздел — настоящая лаборатория языковых экспериментов. Если в диалектике господина и раба язык действовал имплицитно, через структуры признания, страха и труда, то здесь он выходит на авансцену как прямой предмет анализа. Три фигуры — стоик, скептик, несчастное сознание — представляют собой не просто три философские позиции, но три режима речи, три способа отношения языка к собственному содержанию. И каждый из этих режимов терпит крушение именно как языковой режим.

Стоицизм: риторика пустой свободы.

Стоицизм рождается из опыта раба, который в труде и страхе обрёл внутреннюю самостоятельность. Его принцип: «Das Bewußtsein ist denkend, und der Gegenstand ist das Wahre und Gute» — «Сознание есть мыслящее, и предмет есть истинное и благое». Стоик провозглашает, что он свободен «auf dem Throne wie in Ketten» — «на троне, как и в цепях». Внешние обстоятельства не властны над мыслящим сознанием. Истина и благо — не во внешнем мире, а в самом мышлении. Гегель признаёт величие этого жеста: здесь впервые сознание постигает себя как мыслящее, как всеобщее. Но тут же начинается критика, которая с точки зрения языка убийственно точна.

Гегель пишет: «Die Freiheit des Selbstbewußtseins im Stoizismus ist, wie bekannt, die Freiheit des Gedankens, welche alles für sich als ein Fremdes, nur Äußerliches behandelt und

somit über allen äußerlichen Dingen steht. Allein dieser Gedanke ist inhaltslos, eine bloße Form; er hat an ihm selbst keinen Inhalt» — «Свобода самосознания в стоицизме, как известно, есть свобода мысли, которая всё рассматривает как чуждое, лишь внешнее и тем самым стоит над всеми внешними вещами. Однако эта мысль бессодержательна, она есть чистая форма; она в самой себе не имеет никакого содержания». Стоик говорит: «Я свободен». Но что значит «свободен»? Свободен для чего? Свободен от чего? Стоицизм не может наполнить свою свободу конкретным содержанием, потому что любое содержание пришло бы из внешнего мира, а стоик объявил внешний мир безразличным. Поэтому его речь неизбежно остаётся тавтологией. «Свобода есть свобода». «Мысль есть мысль». «Истинное есть истинное, благое есть благое». Гегель обнажает эту пустоту: «Der Stoizismus ist darum in Verlegenheit, wenn nach einem Kriterium der Wahrheit überhaupt, d.h. nach einem Inhalt des Gedankens selbst gefragt wird. Auf die Frage, was gut und wahr sei, hat er den inhaltslosen Gedanken selbst wieder zum Inhalt: das Wahre und Gute in der Vernünftigkeit» — «Стоицизм поэтому оказывается в затруднении, когда спрашивают о критерии истины вообще, то есть о содержании самой мысли. На вопрос, что есть благое и истинное, он снова делает содержанием саму бессодержательную мысль: истинное и благое состоит в разумности». Это языковая катастрофа: речь стоика есть речь, которая ничего не может сказать. Она всё время возвращается к

себе, не производя никакого определённого высказывания о мире. Это мышление, которое говорит, но чьи слова пусты. Язык становится чистой формой без содержания — идеальный коррелят того формализма, который Гегель критиковал в Vorrede.

Скептицизм: самоотрицающая речь.

Скептицизм делает следующий шаг — и этот шаг уже прямо тематизирует язык. Если стоик просто не замечал внешний мир, то скептик активно его отрицает. Он обращает негативную силу против всего определённого, всего конечного. Гегель определяет скептицизм как «die Realisierung des Stoizismus» — «реализацию стоицизма». Стоик лишь говорил о безразличии к внешнему, скептик же действительно разрушает любое внешнее определение.

Но здесь возникает фундаментальное противоречие, и оно носит чисто языковой характер. Гегель описывает его с поразительной феноменологической точностью: «Es spricht das Verschwinden aller Bestimmtheit aus, und ist selbst diese Verschwinden; es ist die Negation aller Bestimmtheit, und ist selbst diese Negation. Aber es ist diese Negation nicht als ein bloßes Nichts, sondern als ein bestimmtes Nichts, das aus der Aufhebung einer Bestimmtheit herkommt, also diese Bestimmtheit an ihm hat» — «Оно высказывает исчезновение всякой определённости и само есть это исчезновение; оно есть отрицание всякой определённости и само есть это отрицание. Но оно есть это отрицание не как простое ничто, а

как определённое ничто, которое происходит из снятия какой-либо определённости, следовательно, имеет эту определённую в себе». Скептик говорит: «Ничто не истинно». Но само это высказывание претендует на истинность. Он говорит: «Я утверждаю, что ничего нельзя утверждать». Он пользуется языком, чтобы отрицать правомочность языка. Это перформативное противоречие в чистом виде.

Гегель продолжает, рисуя картину скептического сознания как жизни в постоянном речевом самоопровержении: «Es spricht das eine aus und sagt, dies sei das Wesen; dann spricht es das Gegenteil aus und sagt, dies sei das Wesen. Es spricht beides aus und widerspricht sich. Aber es ist dieses widersprechende Bewußtsein selbst; es ist das Bewußtsein des Widerspruchs seiner selbst mit sich» — «Оно высказывает одно и говорит: это есть сущность; затем оно высказывает противоположное и говорит: это есть сущность. Оно высказывает и то и другое и противоречит себе. Но оно само есть это противоречащее сознание; оно есть сознание противоречия самого себя с собой». Скептик не может остановиться ни на одном высказывании. Каждое произнесённое суждение он тут же отменяет. Его речь есть непрерывный акт саморазрушения. Но именно в этом акте он и существует. Язык здесь становится не средством передачи истины, а перформансом противоречия, который и есть само скептическое сознание. Гегель сравнивает его с болтовнёй мальчишек, которые, противореча друг другу, получают удовольствие от самого про-

цесса: «Es ist das eitle Geschwätze der Jungen, die einander widersprechen, um sich die Lust des Widerspruchs zu machen» — «Это пустая болтовня мальчишек, которые противоречат друг другу, чтобы доставить себе удовольствие противоречия».

Но здесь же Гегель показывает границу этого языкового режима. Скептик живёт в раздвоении: его жизнь как обычного человека полна утверждений о конечных вещах (он ест, пьётся, одевается, подчиняется обычаям), а его философская речь всё это отрицает. Эти два регистра — бытовой язык и скептическая речь — сосуществуют в одном сознании, не примиряясь. Гегель пишет: «Es hat die zweifache, sich widersprechende Weise des Bewußtseins an ihm selbst; es ist das Bewußtsein seiner als des unwandelbaren, einfachen, sich selbst gleichen, und das Bewußtsein seiner als des absolut wandelbaren, vielfachen, verkehrten. Es ist der Widerspruch seiner selbst» — «Оно имеет в себе самом двойкий, противоречащий себе способ сознания; оно есть сознание себя как неизменного, простого, равного себе, и сознание себя как абсолютно изменчивого, многообразного, превратного. Оно есть противоречие самого себя». Язык скептика — это язык, который раздвоен в себе. Он говорит сразу на двух языках, и эти языки взаимно уничтожают друг друга.

Несчастное сознание: язык жалобы и раздвоенности.

Из этого раздвоения рождается несчастное сознание. Ес-

ли скептик ещё как-то уживался со своим противоречием, порхая от утверждения к отрицанию, то несчастное сознание осознаёт это противоречие как боль и страдание. Гегель определяет его так: «Es ist das unglückliche Bewußtsein, das Bewußtsein seiner als des gedoppelten, nur widersprechenden Wesens» — «Это несчастное сознание, сознание себя как раздвоенной, лишь противоречивой сущности».

Здесь происходит смена языкового регистра. Гегель больше не анализирует речь стойка или скептика. Он сам начинает говорить языком несчастного сознания. В текст вторгается лирика, религиозная интонация, ритм молитвы. Несчастное сознание помещает свою истину в недостижимого Бога, а себя считает ничтожным. Его речь — это «die Klage» (жалоба), «das Gebet» (молитва), «die Andacht» (благоговение). Гегель пишет: «Es ist das Bewußtsein der Entzweiung seiner selbst, und es spricht diese Entzweiung als seine Wahrheit aus» — «Оно есть сознание разорванности себя самого и высказывает эту разорванность как свою истину». Но высказать разорванность — значит не преодолеть её, а лишь выразить. Язык несчастного сознания — это язык, который всё время говорит о своей недостаточности, но самым этим говорением не достигает того, о чём говорит. Жалоба есть такой модус речи, в котором содержание (Бог, истина) остаётся потусторонним, а сама речь — посюсторонней, бессильной. Гегель описывает это с почти музыкальной интонацией: «Es fühlt sich als dieses einzelne, zufällige, vergängliche; es ist die Trauer

über sein Nichtiges; es ist der Schmerz der Arbeit, des Tuns und Denkens, worin es sich als dieses Endliche, Vergängliche weiß» — «Оно чувствует себя как это единичное, случайное, преходящее; оно есть скорбь о своём ничтожестве; оно есть боль труда, действия и мышления, в которых оно знает себя как это конечное, преходящее».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.